МИРЧА
ЭЛИАДЕ

Майтрейи

АЗБУКА-КЛАССИКА

АЗБУКА

Annotation

Роман «Майтрейи» — первый значительный опыт художественного преломления тех впечатлений, что обрушились на автора в Индии. Роман этот принято считать автобиографическим, реалистическим, поскольку в нем «священное», «инобытийное» не явлено так откровенно, как в более поздних произведениях Элиаде.

При поверхностном чтении, да еще с оглядкой на Джозефа Конрада и Сомерсета Моэма, можно воспринять его как очередной вариант сентиментально-трагической истории о любви белого человека к «прекрасной туземке» — истории, сдобренной к тому же сатирическими нотками, призванными обличить все духовное ничтожество пресловутых «пионеров», проводящих время в ночных попойках с веселыми девушками. В романе Элиаде полунамеками даются кое-какие понятия об эротической стороне тантра-йоги, но делается это крайне деликатно, ибо художественное произведение несет совсем иную нагрузку, нежели эзотерический трактат или научная монография.

- Мирча Элиаде
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV

    - Ю. Стефанов. Конечное уравнение, или Ночь духов
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22

Мирча Элиаде
Майтрейи

Tomar ki mane acche, Maitreyi?
Yadi thake, tahale ki kshama karte paro?..[1]

I

Я долго колебался, приступая к этим запискам, потому что мне до сих пор так и не удалось установить дату моего знакомства с Майтрейи. В своем дневнике за тот год я напрасно искал ее имя. В дневнике оно возникает много позже, уже после того, как я вышел из больницы и поселился в доме инженера Нарендры Сена, в квартале Бхованипор. Но это относится к осени двадцать девятого года, а я познакомился с Майтрейи по крайней мере десятью месяцами раньше. И если что и мешает мне начать рассказ, так это именно непонятные пробелы в дневнике, не дающие мне пережить наново шок, озадаченность и смятение от первых встреч.

Первый раз я увидел ее у магазина «Оксфордская книга» — она ждала в машине, пока мы с ее отцом, инженером, выберем книги для рождественских подарков, — и, помню, испытал едва ли не потрясение, сопровождаемое, как ни странно, брезгливостью. Она показалась мне безобразной: эти слишком большие и слишком черные глаза, эти толстые, вывороченные губы, эта литая грудь, — словом, бенгальская девушка с преувеличенной плотью, как набухший зрелостью плод. Когда я был представлен и она в приветствии поднесла ко лбу сложенные ладони, мне бросилась в глаза ее обнажившаяся до плеч рука, и меня пронзил цвет ее кожи — матово-смуглый, оттенка, какого я ни у кого раньше не видел, смесь глины и воска, так я бы сказал. Тогда я жил еще на Уэллсли-стрит в пансионе «Райпон», и моим соседом по блоку был Гарольд Карр из морского торгового ведомства, я водил с ним дружбу, потому что у него, как у старожила, были в Калькутте знакомства, и он брал меня с собой в гости, в семейные дома, а по выходным мы с его девушками ходили на танцы. Вот этому-то Гарольду я и попытался описать — чтобы прояснить впечатление скорее для самого себя — голую руку Майтрейи, странность горчичного колорита кожи, такого волнующего, но меньше всего по-женски, словно это была рука богини, а не обычной смертной.

Гарольд брился, сидя за своим столиком перед зеркалом на подставке. Как сейчас, вижу эту сцену: чашки с чаем, его сиреневая

пижама, запачканная ваксой (за что он до крови избил боя, хотя запачкал ее сам, когда пьяный вернулся ночью с бала ИМКА[2]), никелевые монеты, рассыпанные по неубранной постели, и я, в тщетной попытке прочистить трубку бумажным жгутом, скрученным до толщины спички.

— Нет, ей-Богу, Аллан, как тебе может нравиться бенгалка? Тошнит на них глядеть. Я здесь родился, в Индии, и знаю их получше, чем ты. Они грязные, уверяю тебя. И потом, подкатываться к ним бесполезно. Эта твоя девица даже прикоснуться к себе не даст…

Я слушал его с необыкновенным наслаждением, хотя Гарольд ничего не понял и думал, что если я говорю о чьей-нибудь руке, то, значит, с совершенно определенным прицелом. Это удивительно, как мне нравится слушать гадости о тех, кого я люблю или с кем чувствую близость. Когда я кого-то по-настоящему люблю, а его ругают последними словами, для меня это словно маслом по сердцу, таким образом проявляют себя подсознательные процессы, которых я не понимаю и в которых предпочитаю не копаться. Я сказал бы так: параллельно со страстью или искренним интересом к кому-то во мне растет и другая, зловредная страсть, требующая зачеркнуть, изгадить, развенчать первую. Не знаю. Но, застигнув себя на чувстве удовлетворения от идиотских замечаний Гарольда — недалекого и фанатичного, как все евразийцы, — которые он делал в адрес бенгальских женщин, я немедленно понял, что Майтрейи оставила в моих мыслях, или моих желаниях, впечатление отнюдь не поверхностное. Это и удивило, и смутило меня. Я ушел к себе в комнату, машинально продолжая чистить трубку. Что было после, не могу сказать, потому что привожу эпизод по памяти, я и не вспоминал о нем до случая с гирляндой из жасмина, о которой еще пойдет речь в этой тетради.

В то время моя колониальная карьера была в самом начале. Я приехал в Индию с известной суммой предрассудков, состоял членом Ротари-клуба, очень гордился своим метрополийским происхождением и гражданством, увлекался математической физикой (хотя в отрочестве мечтал стать миссионером) и пунктуально вел дневник. Поработав в местном представительстве заводов «Ноэль энд Ноэль», я устроился прорабом в новом обществе по прокладке каналов в дельте. Там я ближе познакомился с Нарендрой Сеном, человеком очень известным

и уважаемым, первым в Калькутте инженером с Эдинбургской премией, и моя жизнь приняла иной оборот. Теперь я меньше получал, зато мне нравилась работа. Не надо было торчать в душной конторе на Клайв-стрит, подписывать и разбирать бумажки и по вечерам неизменно напиваться, чтобы не впасть в ипохондрию. Каждые две-три недели я выезжал на объект — я отвечал за работы в Тамлуке, — и сердце радовалось, когда я видел, как продвигается дело.

Эти месяцы были для меня по-настоящему счастливыми, потому что на рассвете я садился в экспресс Хаура — Мадрас и к полудню прибывал на стройку. Мне всегда нравилось путешествовать по нашим колониям. По Индии первым классом — это просто праздник. Я ощущал дружелюбие вокзала всякий раз, когда высаживался из такси и бодро бежал по перрону: каскетка надвинута на глаза, позади мой бой, под мышкой пяток иллюстрированных журналов, в руках пара пачек «Кэпстэна» (я много курил в Тамлуке и не мог пройти мимо табачной лавки в Хауре, чтобы не купить «Кэпстэна» про запас, — так меня преследовало воспоминание об одной ночи, когда мне нечем было набить трубку и пришлось курить с рабочими их махорку). Я никогда не вступал в разговор с соседями по купе, мне не нравились ни бара-сахибы[3], недоучки из Оксфорда, ни коммивояжеры с торчащими из карманов детективами, ни богатые индийцы, которые научились путешествовать первым классом, но не научились носить пиджак и пользоваться зубочисткой. Я смотрел в окно на поля Бенгала — никем не воспетые, никем не оплаканные, и мне хотелось молчать даже с самим собою, ничего не прося, ничего не желая…

На стройке я чувствовал себя полновластным хозяином, как если бы был там единственным белым. Те несколько евразийцев, которые руководили работами на участке возле моста, не пользовались таким авторитетом: они добирались до места третьим классом, носили обычные костюмы-хаки — шорты и блузу с большими нагрудными карманами — и крыли рабочих на правильном хинди. Совершенство языка и богатый арсенал бранных слов принижали их в глазах рабочих. Я же говорил плохо и с акцентом, и это внушало им уважение, потому что подтверждало мою иностранность и мое превосходство. Впрочем, я с большой охотой беседовал с ними по вечерам, перед тем как забраться в свою палатку, чтобы сделать запись в дневнике и спокойно выкурить на ночь трубку. Я любил этот

приморский кусок земли, эту печальную, населенную змеями равнину, где пальмы были редки, а кусты ароматны. Я любил час перед рассветом, когда стояла такая тишина, что хотелось скулить от радости, я ощущал, почти как человеческое, одиночество этой равнины, такой зеленой и такой всеми забытой, ждущей странника под самым красивым небом, какое мне дано было видеть в жизни.

Дни на стройке казались каникулами. Я работал всласть, отдавал распоряжения направо и налево, меня переполняла радость, и не хватало только умного друга рядом — разделить это дивное состояние.

Однажды, когда я возвращался из Тамлука, прокаленный солнцем и со зверским аппетитом, и ждал на перроне, пока бой найдет мне такси, я встретил Люсьена Меца, а вернее, он сам налетел на меня (как раз пришел бомбейский экспресс, и на вокзале было столпотворение). С Люсьеном мы познакомились два года назад в Адене: я ехал в Индию, а он — в Египет, куда его должен был доставить итальянский пароход. Мне с самого начала понравилось в нем сочетание невежества и наглости. Этот газетчик, очень талантливый и неимоверно остроглазый, стряпал экономические обзоры, листая прейскуранты на борту парохода и сравнивая их с теми, что получал в порту, и мог превосходно описать город, по которому прогнал полным ходом на автомобиле. К моменту нашего знакомства он уже исколесил Индию, Китай, Малайю и Японию и принадлежал к числу тех, кто честил почем зря махатму Ганди не за то, что тот сделал, а за то, чего не сделал.

— Эй, Аллан! — крикнул он мне, нисколько не удивившись встрече. — Все по Индиям, mon vieux[4]? Втолкуй, будь добр, этому типу, который притворяется, что не понимает моего английского, чтобы он отвез меня в ИМКА, а не в отель. Я приехал писать книгу про Индию. Бестселлер, политика напополам с детективом. Я тебе расскажу — ахнешь!

Люсьен в самом деле приехал писать книгу о современной Индии и обретался здесь уже несколько месяцев; брал интервью, посещал тюрьмы, фотографировал. В первый же вечер он показал мне свой альбом и коллекцию автографов. Если с чем у него и была загвоздка, так это с главой о женщинах, он еще не вышел на *настоящих* индийских женщин и имел довольно смутные представления об их

жизни в парда[5], об их гражданских правах и особенно о детских браках. Он все спрашивал меня:

— Аллан, неужели правда, что индийцы женятся на восьмилетних девочках? Нет, правда, я прочел в книге у одного типа, который тридцать лет протрубил тут в магистрате…

Мы провели вместе очень приятный вечер на веранде в моем пансионе, но я при всем желании тоже не мог внести ясность в вопрос, потому что о частной жизни индийцев знал только по кино. Однако мне пришла в голову мысль напроситься в гости к Нарендре Сену, чтобы тот просветил Люсьена. Может быть, меня грела мысль получше разглядеть Майтрейи, которую я с того раза у книжного магазина больше не видел, поскольку мои прекрасные отношения с Сеном не выходили за рамки деловых контактов в конторе и бесед в машине по дороге домой. Случалось, он приглашал меня к чаю, но я, дорожа своим досугом, который старался отдавать математической физике, всякий раз уклонялся.

Когда я сообщил ему, что Люсьен Мец пишет книгу об Индии и собирается печатать ее в Париже, и еще сказал, какая именно глава вызывает у него затруднения, Сен предложил мне привести Люсьена в гости не откладывая, в тот же вечер. С какой радостью я взлетел по ступеням пансиона, чтобы сообщить ему об этом! Люсьен, ни разу не попадавший в состоятельный индийский дом, стал предвкушать, какой блестящий репортаж он напишет.

— Этот твой Сен из какой касты? — поинтересовался он.

— Настоящий брахман, но совсем не ортодоксальный. Он и член-учредитель Ротари-клуба, и член Калькуттского, и в теннис превосходно играет, и машину водит, и ест рыбу и мясо, и даже приглашает в дом европейцев и представляет их жене. Ты будешь очарован, вот увидишь.

Надо признаться, что дом инженера вызывал у меня изумление не меньшее, чем у Люсьена. Этот дом в Бхованипоре я однажды видел из машины, когда заезжал к Сену за кое-какими чертежами. Но я бы никогда не подумал, что во внутреннем убранстве бенгальского дома могут обнаружиться такие тонкости: такое нежное преломление света сквозь прозрачные, как шали, занавеси, такие мягкие на ощупь ковры, кушетки, покрытые тканями Кашмира, одноногие столики, подставляющие свои латунные столешницы под чашки с чаем и

бенгальские пирожные, выставленные Нарендрой Сеном для просвещения Люсьена. Я разглядывал все это так, как будто только что попал в Индию. Околачиваться здесь два года и ни разу не удосужиться подойти к бенгальцам поближе, оценить хотя бы их быт, если не душу! Я жил посреди колониальной страны один на один со своей работой, читая те книги и смотря те спектакли, которые с таким же успехом мог прочесть и посмотреть, оставаясь в метрополии, среди белых! В тот вечер я узнал первые сомнения и, помню, вернулся домой несколько подавленный. Люсьен кипел от восторга и проверял свои впечатления, справляясь у меня, верно ли он понял те или иные слова хозяина, я же был полон мыслей, которые до той поры никогда у меня не возникали. Тем не менее никакой записи в дневнике я не сделал и напрасно сегодня ищу в нем какой-нибудь след, какой-нибудь намек на встречу с Майтрейи. Это удивительно, насколько я не способен предвидеть значительные события, угадывать людей, которым суждено изменить направление моей жизни.

Майтрейи, в сари и покрывале разных оттенков желтого — чайной розы и желтой черешни, в белых, шитых золотом туфлях, показалась мне гораздо красивее, и ее слишком черные волосы, слишком большие глаза, слишком красные губы словно одушевляли чем-то надчеловеческим ее тело, обвитое одеждами и все же проступавшее сквозь них, как будто бы обязанное своим бытием чуду, а не законам биологии. Я смотрел на нее с любопытством, потому что не мог понять, что за тайну несет это существо в своих мягких, шелковых движениях, в робкой улыбке, вот-вот готовой смениться гримасой паники, а прежде всего — в своем голосе, бесконечно изменчивом, будто сию минуту открывающем для себя те или иные звуки. Она говорила на стертом и правильном школярском английском, но стоило ей открыть рот, и я, и Люсьен замирали — такой зов был в этом голосе!..

Чай прошел со многими сюрпризами. Люсьен строчил в блокноте, дегустируя все подряд пирожные, и без конца сыпал вопросами. Поскольку по-английски он говорил скверно, а инженер заверил его, что понимает по-французски (он бывал в Париже на конгрессах и составил целую библиотеку французских романов, которых, правда, не читал), Люсьен время от времени переходил на парижское арго, и тогда инженер отвечал: «Oui, oui, c'est ca»[6], улыбаясь и сияя от

удовольствия. Люсьен попросил позволения рассмотреть поближе наряд Майтрейи, орнаменты на одежде и украшения, и инженер, восприняв это с должным юмором, сам подвел к нему дочь за руку, потому что Майтрейи не хотела отойти от окна, губы у нее дергались, а покрывало съехало на лоб. Последовала ни с чем не сравнимая сцена осмотра одежд и украшений. Люсьен проводил осмотр не без помощи рук, сопровождая его возгласами энтузиазма и вопросами и стенографируя ответы, в то время как Майтрейи не знала, куда деваться от смущения, и дрожала вся, бледная, испуганная, пока не встретилась глазами со мной. Я улыбнулся ей, как бы предлагая убежище, и больше она не отводила глаз, постепенно и плавно успокаиваясь. Не знаю, сколько длился этот взгляд, но я никогда не встречал и не выдерживал подобного, и после того как экзамен кончился и Майтрейи снова отпрянула к окну, мы уже избегали смотреть друг на друга, настолько сокровенно и тепло соприкоснулись наши глаза.

Не смея больше взглянуть на нее, я глядел — другими глазами — на инженера и спрашивал себя, как человек с такой неказистой внешностью может быть отцом Майтрейи. Я вдруг уловил его сходство с лягушкой — глаза навыкате и огромный рот, — я словно впервые увидел круглое смуглое лицо с низко растущими ото лба черными вьющимися волосами, приземистую сутулую фигуру на коротких ногах и с бесформенным животом. Тем необъяснимее были симпатия и даже любовь, которые вызывал в людях мой патрон. По крайней мере для меня Нарендра Сен был обаятельнейшим человеком, умным и тонким, просвещенным, добрым и прямым, но не обделенным и чувством юмора.

Пока я сидел и вот так рассматривал его, вошла, внеся совершенно особую атмосферу радушия и трепетной пугливости, жена инженера, Шримати Деви Индира, в голубом с золотой каймой сари, ступни и ногти на ногах подведены красным. Английский госпожа Сен знала чрезвычайно слабо, но зато непрерывно улыбалась. Губы у нее тоже были очень алые — возможно, от бетеля. При виде ее я просто пришел в изумление: я бы никогда не принял ее за мать Майтрейи, в лучшем случае — за старшую сестру, такая была она молодая, свежая и застенчивая. Она привела с собой и младшую дочь, Чабу, лет десяти-одиннадцати, стриженую и в ситцевом платье без рукавов, тоже босую

и своей босоногостью и смуглым хорошеньким личиком напоминающую цыганочку.

Что было после, трудно передать. Эти три женщины, выставленные нам напоказ, испуганно жались друг к другу, и инженеру никак не удавалось их ободрить и заставить разговориться. Госпожа Сен хотела сама подать чай, но раздумала и поручила это Майтрейи. Не знаю, по чьей оплошности чайник опрокинулся с подноса прямо Люсьену на брюки, все кинулись ему на помощь, и пока Люсьен извинялся по-французски, без всякой надежды быть понятым, инженер весьма строго отчитывал — по-бенгальски свое семейство, а потом указал Люсьену на другое кресло:

— Scusez-moi! Ici votre place.[7]

Дочери сбегали и переменили шелковое покрывало на кресле, а инженер все выговаривал им, я же не знал, куда девать руки, на ком остановить взгляд. Даже Люсьен почувствовал некоторую неловкость, хотя потом, в машине, с невероятным наслаждением смаковал это происшествие. Лишь госпожа Сен сохраняла ту же улыбку на алых губах и ту же робкую ласку во взгляде.

Беседа вскоре свернулась. Инженер показывал Люсьену санскритские рукописи из библиотеки своего дяди, в прошлом советника правительства, затем — картины и старинные вышивки. Я отошел к окну взглянуть на двор, странный двор с высокими стенами, где цвели какие-то кусты и глициния под трепещущим опахалом кокосовой пальмы. Я смотрел и гадал, чем творится эта прелесть, эта тишина, небывалая для Калькутты, — и вдруг меня резанул по сердцу безудержный, заразительный смех, смех женщины и ребенка в одно и то же время. В волнении я высунулся из окна и увидел на крыльце Майтрейи, она каталась от хохота, перебирая ногами, прижимая руки к груди, — сари размоталось, волосы упали на глаза, — и наконец с такой силой разогнула колени, что туфли отлетели к дальней стене. Я смотрел на нее во все глаза, и эти несколько минут показались мне бесконечными. Не знаю, что за священное действо явил мне ее смех и буйство давшего себе волю тела. У меня было ощущение, что я совершаю кощунство, подглядывая за ней, но я не находил в себе сил оторваться.

Все комнаты, через которые инженер вел нас к выходу, были полны ее смеха.

II

Как-то раз в Тамлуке я пошел побродить по берегу реки. Тут на меня и нахлынуло ощущение моего одиночества. Помню, за два дня до этого была помолвка Норин, и мы кейфовали всю ночь: упились, натанцевались до упаду, перецеловали всех девушек, а на рассвете расселись по машинам и поехали на Озера. Мы планировали и «пижамную» вечеринку, как прошлой весной, в марте, когда мне пришлось решать свои разногласия с Эдди Хиггеригом посредством бокса. В Норин я тоже был влюблен одно время, как положено молодому человеку в двадцать четыре года, а вернее, я любил танцевать с ней в обнимку и целоваться. Больше ничего… И вот когда я медленно шел со своей трубкой и с хлыстом — солнце еще не раскалило пространство, и птицы еще гомонили в кустах, пахнущих корицей и ладаном, — я вдруг понял какую-то свою особость, я понял, что остался один и умру один. Мысль меня не опечалила; напротив, я был спокоен, ясен, примирен с лежащей вокруг равниной, и, если бы мне сказали, что жить мне осталось час, я бы не испытал сожалений. Я лег бы в траву, заложил руки за голову и, глядя в голубизну надземного океана, ждал бы, пока истекут мои минуты, не считая их и не торопя, просто не ощущая. Не знаю, что за гордыня, естественная ли, чуждая ли человеческой природе, говорила тогда во мне. Мне все было по плечу — и ничего не надо. Вкус одиночества в этом волшебном краю вскружил мне голову. Я думал о Норин, о Гарольде, об остальных и спрашивал себя, как они попали в мою жизнь и как я затесался в их плоские и посредственные жизни. Я бродил долго, так и не сумев ответить.

На стройку я вернулся с утроенной жаждой одиночества, тишины и радовался, что у меня есть еще неделя палаточной жизни, без газет и без электричества. Меня встретил дежурный:

— Сахиб, вам телеграмма из Калькутты.

Я решил, что речь идет о приемке материалов, и не спешил ее вскрывать. А прочтя, был неприятно удивлен. Меня срочно вызывал Нарендра Сен. Выехать пришлось в тот же вечер, и я с печалью смотрел в окно вагона на бледные тени одиноких пальм, проступавшие

сквозь испарения земли, на эту равнину, которая не далее как сегодня утром щедро приняла меня в лоно своей жизни без начала и без конца. Как я жалел тогда, что несвободен, что не могу остаться в своей палатке при газолиновой лампе и слушать хоры сверчков и цикад…

— Аллан, хорошие новости для тебя, — сказал мне инженер. — Нам нужен толковый человек в Ассаме, земляные работы и мосты на линии Лумдинг — Садийя. Я сразу подумал о тебе, и совет дал согласие, под мою ответственность. У тебя три дня на сборы и сдачу дел в Тамлуке…

Он смотрел на меня с непередаваемой доброжелательностью, и его некрасивое лицо светилось такой теплотой и любовью, что мне стало даже неловко. Позже я узнал, что он выдержал нешуточную битву на совете за мою кандидатуру, поскольку общество было свараджистским — стояло за устранение последних иностранных служащих и замену их национальными кадрами. Должность была ответственнее и платили лучше: от 250 до 400 рупий в месяц, такого жалованья я не получал даже в «Ноэль энд Ноэль». Конечно, работать предстояло в местности нездоровой и дикой, но моя страсть к джунглям, с которой я прибыл в Индию и которую все еще не удовлетворил в полной мере, оказалась решающей. Я принял предложение с благодарностью. Инженер положил руку мне на плечо.

— Ты нам очень дорог, Аллан, и мне, и моей супруге, мы часто о тебе думаем. Как жаль, что ты не понимаешь нашего языка…

Тогда я над всем этим не задумался. В голове мелькнул, правда, вопрос, почему Сен предпочел меня своим соотечественникам, но я ответил на него просто: из-за моих деловых качеств. Я всегда верил в конструктивность своего мышления, в свою энергию белого цивилизатора, в свою полезность для Индии.

Гарольд, узнав новость, настоял, чтобы мы отметили мое повышение небольшим банкетом в китайском квартале. Мы пригласили девушек и с шумным весельем погрузились в два такси. Выехав с Парк-стрит на Чоуринги-роуд, мы решили устроить гонки, понукали своих шоферов (наш был отличный парень, сикх, он воевал во Франции и умел кричать: «Diable, diable! Vin rouge, vin bland»[8]), хлопали их по спинам, подзадоривая. Герти, сидевшая у меня на коленях, прижималась ко мне (она уже знала о весомой прибавке жалованья) и повторяла:

— Ой, вывалюсь! Ты не боишься, что я вывалюсь?

На перекрестке Дхурмтолла-стрит нам пришлось ждать, пока пройдет трамвай. Второе такси успело проскочить, мы были в неописуемой досаде, и тут напротив оказалась машина инженера. Я ошалел от неожиданности, увидев его вместе с женой и Майтрейи, и покраснел глупейшим образом, приветствуя их. Инженер презрительно улыбнулся, госпожа Сен взглянула на меня с ужасом и изумлением, я совершенно не знал, как к этому отнестись. Только Майтрейи подняла сложенные ладони ко лбу и ответила на мое приветствие с живым любопытством к компании, в которой я находился, и к девушке, которую держал в объятиях. Я тоже попытался изобразить это индийское приветствие, и тут до меня дошел весь идиотизм ситуации. Я пережил несколько пренеприятных мгновений, пока машины не тронулись. Обернувшись, я увидел бьющееся на ветру покрывало Майтрейи, цвета желтой черешни.

Моих товарищей скандализовали уважение и робость, с какими я приветствовал «черных».

— Не удивлюсь, если ты полезешь в Ганг на омовение, — съехидничала Герти.

— Как ты можешь поддерживать отношения с черной семьей? — возмущался Гарольд.

Зато шофер, наблюдавший эту сцену, был в восторге. Когда я расплачивался с ним у дверей ресторана, он сказал мне по-французски, чтобы не поняли другие:

— Tres bien, sahib, jeune fille *к* vous, bahut achhal.[9]

На другой день утром, когда мы встретились с Нарендрой Сеном, он спросил меня самым натуральным тоном:

— С кем ты был вчера вечером, Аллан?

— Это моя компания, сэр, — ответил я с подчеркнутой вежливостью.

— А девушка на коленях? Очень красивая. Она тебе нравится?

— Слишком дешевый разряд, чтобы мне нравиться, мистер Сен. Но я должен был устроить приятелям farewell-party[10], а поскольку нас было много и мы хотели сэкономить на такси, то каждый посадил на колени по девушке. Дело житейское, сэр…

Он, несомненно, почувствовал перебор в моих словах и, похлопав меня по плечу, сказал:

— Перед тобой, Аллан, другая дорога. Жизнь, какую ведут здешние англичане, тебя недостойна. Мне кажется, тебе очень вредит то, что ты поселился в их пансионе, ты никогда не полюбишь Индию рядом с такими…

Меня удивил интерес, который инженер выказал к моей личной жизни. До сих пор он интересовался только, как мне здешняя пища, приличный ли у меня бой, не мучают ли меня жара и шум, люблю ли я теннис.

Надо было спешно приступать к работе, оформить множество бумаг, и на прощанье Сен пригласил меня отужинать с ним в Ротари-клубе. Я пытался было сослаться на несоответствующий костюм, на усталость, но он не принял никаких отговорок. Пришлось сдаться, а после великолепного спича, который инженер произнес перед залом, полным избранной и живо реагирующей публики, я почувствовал себя даже польщенным, что сижу за одним столом с таким выдающимся человеком.

Той же ночью я отбыл в Шиллонг, меня провожал один Гарольд с напутствием против змей, проказы, малярии и желудочных болезней.

— Помни: бренди и виски с содовой! — прокричал он еще раз вслед поезду.

III

Сегодня я долго сидел над своим ассамским дневником, с трудом разбирая тогдашние каракули и переписывая их в тетрадь, начатую вместе с моим уходом из той жизни. В Ассаме у меня было мироощущение пионера джунглей, я считал, что моя работа по прокладке путепроводов принесет Индии гораздо больше пользы, чем дюжина книг о ней, и что вообще эта культура, столь же древняя, сколь новы наши труды, еще ждет своего живописателя. Я забрался в такую глубинку, где побывали пока что только этнографы, я узнавал племенную Индию, а не ту, что знал по романам и очеркам, и узнавал на месте, среди ядовитой флоры Ассама, под вечным дождем, во влажной и дурманящей жаре. Я нес новую жизнь этому краю, задушенному лианами, его людям, таким нерадостным и таким неискушенным. Я хотел приобщиться к их эстетике и морали, я собирал фольклор, фотографировал, записывал родословные. Чем глубже я уходил в первобытность, тем более странную гордость испытывал: в джунглях я был добр и справедлив, выдержан и невозмутим, не то, что в городе.

Но дожди… Что за ночи в борьбе с неврастенией под стук воды по крыше, от которого никуда не деться, что за дни, когда не имеющие подобия ливни лишь на несколько часов сменяются изморосью, мельчайшей и горячей, напоенной самыми изнурительными оранжерейными запахами, — едва удержишься, чтобы не подставить им лицо, не побежать, ловя их ноздрями, ртом, шалея… Вечера я проводил в своей комнате — оазисе цивилизации и прохлады, или прогуливался по веранде бунгало, пытаясь распробовать вкус табака (он отсыревал, несмотря на все предосторожности), и иногда чувствовал, что больше так не могу. Меня подмывало треснуть кулаком по перилам балюстрады, завыть и броситься сквозь дождь, сквозь темноту куда-то туда, где нет этого непоправимо прохудившегося неба, где трава не такая высокая, мокрая и мясистая. Я тосковал по цветам, по полям, похожим на тамлукские, по соленому бризу или по сухому ветру пустыни, потому что туманы и удушливые испарения растительности сводили меня с ума.

Мое общество составляли трое слуг и сторож, и когда к нам заносило случайного гостя, будь то надсмотрщик с джутовой плантации, чиновник из департамента или торговец чаем, держащий путь в Китай, я распивал с ним бутылку виски. Я пил и один — каждый вечер, окончив инспекцию и возвратясь в бунгало принять ванну. К этому часу я уже не ощущал своего тела — кажется, уколи меня, порань, я даже не замечу. Зато нервы играли, как ртуть, руки и ноги тряслись, дыхание было тяжелым, голова кружилась всякий раз, как приходилось вставать с шезлонга, и чаще всего я так и валялся в пижаме, глядя перед собой, без воли, не замечая времени. Слуга ставил рядом со мной на столик бутылку виски и бутылку содовой, и я пил редкими глотками, уронив подбородок на грудь, пока по телу не разливалось приятное тепло и я не чувствовал, что отошел; тогда я вскакивал, одевался и выходил под дождь. Дыша мельчайшей водной пылью, я мечтал о скромной счастливой жизни, о ферме в пределах досягаемости от какого-нибудь города, куда бы я возвращался каждый день на машине. Это были часы моей слабости, я блуждал под дождем, пока меня не одолевало желание либо еще поработать, либо лечь спать. Спал я много и плохо, особенно те три недели, когда пришлось работать в сорока милях к северу от Садийи. Машина привозила меня в бунгало иногда уже за полночь, поскольку приходилось ехать окольным путем, избегая дорог в низинах, и я засыпал одетый, не умывшись, лишь проглотив чашку чаю с ромом и хинином, а наутро надо было выезжать не позже девяти. Я все больше пренебрегал своим туалетом: белые обходили стороной эти края в разгар муссонов; были, правда, несколько евразийских семейств, к которым я заезжал иногда скуки ради — услышать английскую речь и выпить за компанию.

По воскресеньям, когда прислуга отправлялась поездом в Шиллонг за провизией, я спал до полудня, просыпался с тяжестью в голове, с клейкой слюной во рту и весь день валялся в постели, записывая в дневник впечатления. Я хотел издать впоследствии книгу, чтобы в ней была правда о жизни белого в Ассаме, и старался как можно точнее анализировать себя: дни маразма и неврастении и (все-таки гораздо чаще) дни подъема, первооткрывательского духа, усилий, диктуемых честолюбием.

За весь июль я только раз попал в Шиллонг и там подставил себя солнцу, сходил в кино, починил патефон и накупил детективов —

единственное чтиво, на которое я оказался способен по приезде в Ассам. Однако я знал, что мой труд хорошо оценивают в центре, знал не через нашего шиллонгского агента, надутого ирландца, который попытался было заставить меня ждать под дверью, а непосредственно от Нарендры Сена: почти каждую неделю я получал от него весточку, продиктованную на машинку, несколько теплых и дружеских строк. В октябре мне полагался месячный отпуск. Правда, я мог бы поехать в Калькутту и в середине августа, если бы управился с инспекцией и ремонтом трудных участков под Садийей и представил отчет.

Но случилось то, чего я боялся в минуты депрессии. В начале августа я заболел малярией, малярией тяжелой, усугубляемой нервным истощением. Я вернулся в бунгало несколькими часами раньше обычного, и чай показался мне совершенно безвкусным. Меня знобило, поднялась температура. Я накачался бренди, памятуя наказы Гарольда, и лег в постель. Но наутро у меня начался бред, пригласили врача-евразийца, мистера Франка, он определил малярию, и в тот же день меня повезли в город. Солнце грело на славу, я смотрел на цветы и птиц, а на вокзале испытал потрясение при виде женщины: я четыре месяца не видел белых женщин.

Больше я уже ничего не помнил. Потом я узнал, что меня отвезли в Шиллонг и положили там в больницу для европейцев, что в Калькутту дали телеграмму, и, пока мне подыскивали замену, навестить меня приехал мистер Сен. Через пять дней первым классом, в сопровождении двух сестер милосердия и Гарольда, меня отправили в Калькутту, прямиком в центр тропической медицины.

…Когда я очнулся, было утро, пахло жженым сахаром и нашатырем, я, ничего не понимая, глядел на белые стены и на женщину, которая читала, уютно сидя в кресле у окна. Несколько минут я прислушивался к шороху вентилятора, пытаясь вспомнить, кто мне говорил только что про конрадовского «Лорда Джима», я слышал и узнавал этот голос, и чего бы я не дал за то, чтобы встать с постели и сказать его обладательнице, что это очень средний роман и что он не идет ни в какое сравнение с моей любимой книгой — «Капризом Олмейера», написанной Конрадом в юности.

— Кто не читал «Каприз Олмейера», тот не знает Конрада, — твердо сказал я женщине, сидевшей вполоборота ко мне.

— Господи! Значит, вы не потеряли дар речи?! — воскликнула ошеломленная сиделка, кидаясь ко мне и нажимая кнопку звонка. — Хотите чего-нибудь?

— Побриться, — невозмутимо заявил я, погладив отросшую бороду и чувствуя, какие впалые у меня щеки. — Прошу меня простить, что я в таком виде перед вами. Вероятно, меня привезли сюда не по моей воле. Еще раз простите.

Сиделка рассмеялась. Потом, посерьезнев, сказала:

— Слава Богу, что вы пришли в себя. Мы уже отчаялись. Надо позвонить мистеру Карру. Бедняга, он каждый день справляется о вас…

Известие, что Гарольд обо мне беспокоится, неожиданно растрогало меня до слез. Я-то думал, что я один как перст, заброшенный, без друзей и знакомых. Вдруг мне стало страшно. Я представил себе, что мог умереть здесь, в пяти неделях езды от моей страны, и эта мысль меня парализовала, остановила кровь в жилах.

— Что с вами? — испуганно спросила сиделка.

— Нет, ничего, стыдно, что я небрит, — солгал я. Мне показалось, что она меня не поймет. Но слезы все же не сумел сдержать и, всхлипнув, спросил: — Вы думаете, я поправлюсь, я еще увижу Нью-Йорк и Париж? Я выздоровлю?

Не помню, что она мне ответила, хоть этот день подробно зафиксировался в памяти. Приходили доктора-европейцы, потом — Гарольд, который жал мне руку целых три минуты, повторяя:

— Ну как ты? Как ты, а?

Он засыпал меня забавными новостями. Что Герти крутит с одним менеджером из «Мидл-Банка», он мало того что хлюпик, но и выставить его больше чем на билет в кино за три рупии восемь анн невозможно, что Норин в замужнем состоянии подурнела, что в мою комнату на Уэллсли-стрит вселилась супружеская пара, она на сносях, он приводит в комнату девчонок-школьниц и щупает их при ней, а она ему: «Джек, ты опять разнервничаешься..»

Пока мы болтали о всякой чепухе, пришел инженер, он с чувством пожал мне руку и погладил по голове, заглянул в глаза. Я представил ему Гарольда, который нагло сказал:

— Бесконечно счастлив познакомиться, мистер Сен.

— Аллан, ты переусердствовал в работе, от этого твоя болезнь, — начал было инженер. — Но ты сейчас ни о чем не беспокойся, все будет улажено…

Я видел, что присутствие Гарольда его стесняет и что наедине он сказал бы мне больше. Мы договорились, что он приедет на другой день, после работы.

— Жуткий тип, — заметил Гарольд. — Чего он к тебе, интересно, привязался? Не иначе как решил спихнуть за тебя дочку.

— Что ты мелешь, Гарольд? — возмутился я, покраснев при этом.

Майтрейи — видением, давно меня покинувшим, — снова встала перед глазами, на этот раз она была не такой неземной, как раньше, а теплой и улыбающейся (как бывает во сне, лица перепутались, и Майтрейи в придачу к большим глазам и гладко убранным волосам получила красные от бетеля губы матери). Несколько мгновений я видел ее, я смотрел на нее с жадностью и каким-то щемящим чувством. Была ли это тоска по ней или страх перед неминуемой встречей и обменом словами? Присутствие Гарольда вдруг показалось мне кощунственным, и я не знал, как объяснить самому себе то странное, что чувствовал: любовь? — нет, ни в коем случае; уважение? — тоже нет. Уважать причуды высокомерной бенгалки, которая презирает белых и все же тянется к ним? Но болтовня Гарольда решительно перестала меня занимать. Я хотел, чтобы он ушел, хотел остаться один. Слишком много впечатлений навалилось на меня за день. Среди них, я прекрасно понимал, и видение Майтрейи, взошедшее в сознании, когда оно освободилось от жара, видение, места которому я не знал, как не знал и что буду делать в ее живом присутствии.

Я никогда не болел, и меня томила медленность выздоровления. Мне хотелось сбросить с себя простыню, отыскать свою одежду и пуститься в загул, так я соскучился по огням Калькутты. Я пошел бы первым делом в китайский квартал и съел бы чау — лапшу во фритюре, приправленную луком-пореем и разными овощами, с омарами и яичными желтками, а потом заглянул бы в «Фирпос» и за хорошим коктейлем послушал джаз. Моя гордыня здорового белого человека противилась больничной преснятине. Здесь ничего не позволялось, даже курить.

На другой день я жаловался девушкам, Герти и Кларе, которые пришли ко мне и принесли шоколад, сигареты и фрукты:

— Сбежать бы отсюда и пуститься во все тяжкие!

Гарольд планировал большой кутеж с продолжением на Озерах в ту самую ночь, когда меня выпишут. Герти, с ее страстью к точности, вытащила листок бумаги и карандаш и принялась составлять список приглашенных. Симпсонов мы не позовем, потому что Айзек любит уединяться и дуть неразбавленное виски, а Джеральд нечист на руку, она сама видела на помолвке Норин, как он крадет сигареты, Кэтрин надо будет позвать непременно, она про меня все время спрашивала и ужасно расстроилась, когда узнала, что я загремел в больницу. О братьях Хьюберах и о красотке Айви мы еще поговорим. С остальными все ясно.

Слушая, как она сыплет именами и решает за меня, я не знал, огорчаться мне или радоваться. Я смотрел на нее, но глаза то и дело соскальзывали в пустоту.

— Господин Сен, — объявила сестра.

Я совершенно растерялся, как всегда, когда мне приходилось общаться с индийцем, которого я уважаю, в присутствии соотечественников, моих сверстников. Улыбаясь во весь свой огромный рот, вошел Нарендра Сен, а за ним, застенчивой, мягкой походкой, — Майтрейи. У меня упало сердце, я тут же вспомнил, что сегодня не брился, что на мне казенная пижама и что выгляжу я по-дурацки. Я пожал руку инженеру, изобразил на лице печать страдания, чтобы прикрыть любые возможные оплошности с моей стороны, и поднес ладони ко лбу, с комической серьезностью приветствуя Майтрейи. Но каково же было мое изумление, когда она, представляясь девушкам, решительно пожала им руки и вежливо сказала:

— How do you do?

— Моя дочь знает два кодекса хороших манер, — объяснил господин Сен, подмигивая Герти, которую он все время держал под прицелом, особенно когда отпускал остроты. — Но западный она применяет только в присутствии дам.

Я сидел как на иголках. Девушки заговорили между собой, отозвав в сторонку и Гарольда, а инженер стал объяснять что-то по-бенгальски своей дочери, которая смотрела вокруг со жгучим и в то же

время насмешливым любопытством. Я впервые заметил, что, когда она внимательно слушает, на ее губах намечается улыбка не просто иронии, но почти сарказма, которую с трудом можно было предположить на этом лице, столь пугливо-девственном. Разозлившись на себя за собственное смущение, я подумал: что я, собственно, разволновался присутствием этой девицы, в которой нет ничего особенного, которую я никогда в жизни не полюблю и с которой мне предстоят только эпизодические, ничего не значащие встречи?

— Когда вы придете к нам, мистер?

На звуки ее голоса вся троица моих друзей обернулась.

— Как только встану на ноги… — Я заколебался, не зная, как ее назвать: *мисс* не подходило, *деви* я не посмел; от такого затруднения меня бросило в краску, и я стал извиняться: — Простите, я не успел побриться, и в комнате не прибрано. Я сегодня чувствовал себя так плохо… — Тут я снова изобразил на лице крайнее изнеможение, мысленно моля Бога, чтобы все они поскорее ушли и разрядили ситуацию, которая казалась мне невыносимой.

— Вот что, Аллан, я предлагаю тебе пожить у нас, — заговорил инженер. — Эту мысль подала мне жена. Ты не привык к здешней пище, ослаблен болезнью, и, если тебе придется остаться в Калькутте, боюсь, ты не выдержишь. Кроме того, таким образом ты сэкономишь значительную сумму и через год, от силы два сможешь поехать навестить родителей. Для нас же твое присутствие… я думаю, излишне объяснять.

Он закруглил фразу своей влажной лягушачьей улыбкой. Майтрейи выжидательно смотрела мне прямо в глаза, не говоря ни слова, не прося, не убеждая. Как мне теперь досадно, что я не записал тогда, сразу после их ухода, тревожное состояние духа, вызванное словами Нарендры Сена. Смутно припоминаю (и тому причиной не столько время, сколько мои бесконечные сомнения и колебания, отнявшие у нашего разговора новизну и краски, затушевавшие его под банальность), смутно припоминаю, что во мне говорило два голоса: один звал меня в новую жизнь, которую, насколько мне было известно, ни один белый человек не знал непосредственно в ее источнике, жизнь, которую наезд Люсьена открыл мне как чудо и которой присутствие Майтрейи сообщало очарование легенды, влекущей, забирающей в плен; другой голос восставал против этого заговора,

которым меня хотели лишить свободы, подчинить уставу совершенно чуждого мне существования, исключающего веселое времяпрепровождение со спиртным и прочим, допускающего изредка разве что кино. Оба голоса я ощущал равно для себя органичными, равно «моими»… Но нельзя было и затягивать ответ.

— Я вам так признателен, мистер Сен. Но боюсь, что доставлю вам слишком много хлопот, — вполголоса проговорил я, косясь на наших девочек, которые с досадой наблюдали, как я сдаюсь (инженер с Майтрейи сидели у моей постели, Гарольд с подругами стояли у окна).

— Пустое, — засмеялся Нарендра Сен. — У нас столько свободных комнат, внизу, рядом с библиотекой. И потом, твое присутствие станет еще одним ферментом в процессе цивилизации моей семьи, поверь мне. — (Я не понял, была ли ирония в его словах.)

Когда-то, говоря с нашими девочками об инженере и о его прекрасной дочери, я сказал им в шутку, что мне понадобится их помощь, помощь такого рода: если мы встретимся все вместе, инженер, они и я, чтобы Герти с невинным видом спросила меня: «Аллан, как поживает твоя подружка?» Я сделаю вид, что сконфужен, что пытаюсь подать ей знак, но она пусть продолжает как ни в чем не бывало: «Ну-ну, не прикидывайся, будто не знаешь, о ком речь! Я тебя спрашиваю, как поживает Норин?» (Или Изабел, или Лилиан, любое женское имя, какое ей придет на ум.)

Так вот, Герти, сочтя, что сейчас самый подходящий момент запустить эту шутку, о которой я успел забыть, громко спросила, подмигивая:

— Аллан, а как, кстати, поживает твоя подружка?

И, не дожидаясь ответа (у инженера слова замерли на губах, Майтрейи вскинула подбородок), Герти продолжала, по-видимому очень довольная собой:

— Ну-ну, не строй из себя невинность! Ты же должен ее спросить, прежде чем переселяться к мистеру Сену. Так ведь?

— Без сомнения, — согласился, пытаясь улыбнуться, инженер.

Майтрейи посмотрела на Герти с неподдельным изумлением, потом перевела глаза на отца.

— Моя дочь хотела тебе почитать, Аллан, — поспешно заговорил инженер, чтобы сгладить эту неловкость. — Она выбрала «С востока» Лафкадио Херна. Но сейчас, наверное, не время.

— Я бы не смогла читать, баба, — сказала Майтрейи. — Мой английский — incomprehensible.[11] — Она выговорила это слово с безупречным произношением, особенно старательно.

— Так как насчет подружки, ты мне не ответил, — недовольно вмешалась Герти, обманутая в своих ожиданиях.

— Да отстань же ты, нет у меня никакой подружки! — взорвался я в досаде и на свою, и на ее глупость.

— Врет, — сказала она потише, почти конфиденциально, обращаясь к инженеру. — Такого бабника еще поискать…

Немая сцена. Инженер в полном замешательстве глядел на свою дочь.

Взгляд Майтрейи стал отсутствующим. Гарольд, полагая, что битва выиграна, издали корчил мне гримасы. Идиотизм ситуации достиг предела, а поскольку в идиотской ситуации я не способен принять никакого решения и всегда жду чуда, я уставился в одну точку и стал тереть себе лоб, изображая ужасную головную боль.

— Аллану надо отдохнуть, до свидания, — сказал мистер Сен, пожимая мне руку.

— Мы тоже сейчас пойдем, — подхватил Гарольд, прощаясь с инженером и с Майтрейи, с которой он, впрочем, не знал, как проститься.

Когда те ушли, девочки подскочили к моей кровати, фыркая от смеха и поздравляя меня.

— Ну, Аллан, пропал мальчишка, — смеялась Герти.

— А она ничего, — заметила Клара, — только, кажется, такая же грязная, как все их женщины. Чем они мажут волосы?

Тут я окончательно струсил и позволил своим гостям городить ерунду и про инженера, и про Майтрейи, не слыша ни их, ни самого себя. Чары рассеялись — все, даже почтение, исчезло без следа. Я перестал понимать что бы то ни было.

— Давай пересмотрим список, — напомнила Герти. — Наверно, все-таки стоит пригласить Хьюберов. У старшего, Дэвида, есть машина… Кстати, скажи, здорово я ввернула про «подружку»? Я тебя спасла, Аллан, так и знай…

IV

Каждое утро первым моим чувством было удивление. Я просыпался на своей походной кровати в каком-то диковинном месте и переводил глаза с высокого зарешеченного окна на зеленые стены, на большое бамбуковое кресло и две табуретки у письменного стола, на литографии с видами Бенгала, висящие справа от книжного шкафа. Мне нужно было некоторое время, чтобы вспомнить, где я нахожусь, сообразить, что за глухие шумы доносятся из открытого окна или из-под двери в коридор, которую я на ночь запирал деревянным засовом. Я раздвигал прозрачный полог над кроватью и шел обливаться водой во двор, в обитую жестью кабинку, где стояла огромная цементная кадь, с вечера наполняемая водой. Мне в новинку были эти бодрящие омовения в импровизированной ванной посреди двора. Я черпал воду кружкой и лил на себя, дрожа от холода, потому что стояла зима, а двор был вымощен камнем. Зато я гордился, какой я храбрый: другие приносили с собой в кабинку по ведру горячей воды и, узнав, что я обливаюсь только холодной, охали и ахали от восхищения. Несколько дней в доме только и разговоров было что о моей утренней закалке. Я ждал похвалы от Майтрейи, которую встречал за чаем в простом белом сари, босую. И наконец дождался первых ее неформальных слов:

— В вашей стране, наверное, очень холодно. Поэтому вы такие белые…

Слово «белые» прозвучало с оттенком зависти и меланхолии, и взгляд ее невольно задержался чуть дольше на моей руке, открытой для обозрения, поскольку я был в рабочей блузе с короткими рукавами. Мне было странно и приятно уловить эту зависть, но поддержать разговор не удалось, Майтрейи допила свой чай, слушая в молчании нашу с инженером беседу и отделываясь кивком, когда я обращался к ней.

Она почти никогда не участвовала в общем разговоре. Я встречал ее в коридоре, я слышал ее пение, я знал, что добрую половину дня она проводит, запершись в своей комнате или на террасе, она была как бы совсем рядом и в то же время за семью печатями, и это не давало мне покоя. Впрочем, мне казалось, что я сам под постоянным надзором —

не думаю, что меня в чем-то подозревали, скорее заботились, как бы мне получше угодить в моем новом жилище. Оставаясь один и посмеиваясь надо всем, что казалось мне диким и непонятным, я каждый час получал то пирожные и фрукты, то чай с молоком, то тщательно очищенные кокосовые орехи. Все это приносил один и тот же слуга, голый по пояс, с волосатой грудью, единственный, с кем я мог перемолвиться словом на хинди. Он садился, скрестив ноги, у двери и, с жадностью разглядывая мои вещи и меня самого, медлил уходить и сыпал вопросами: удобна ли моя постель, хорошо ли защищает от москитов полог, люблю ли я сырое молоко, есть ли у меня братья и сестры, скучаю ли я по родине, и я знал, что наверху его ждет госпожа Сен с целым штатом кумушек (я их не различал) и он слово в слово повторит им то, что выведает.

Майтрейи держала себя, как мне казалось, очень высокомерно. Часто я застигал на ее губах чуть ли не саркастическую усмешку. Она всегда вставала из-за стола раньше других, чтобы пожевать бетель, и из соседней комнаты тут же раздавался ее смех и бенгальская речь. За общим столом она никогда не обращалась ко мне, а если я встречал ее одну, то сам не осмеливался начать разговор. Я боялся по неведению преступить какое-нибудь местное правило хорошего тона и поэтому часто делал вид, что просто ее не замечаю, и скрывался за своей дверью. Я задавал себе вопрос что она думает обо мне, что за душу скрывает это изменчивое лицо (в иные дни она дурнела, в иные я не мог отвести от нее глаз, так она была хороша), глупа ли она, как все девушки, или первобытно проста, в соответствии с моими представлениями об индианках. Чтобы отвлечься от этих бесплодных мыслей, я вытряхивал пепел из трубки и возвращался к чтению. Библиотека инженера занимала две комнаты на первом этаже, и каждый день я брал оттуда и уносил к себе новые книги.

Однажды — прошло около месяца с тех пор, как я поселился в Бхованипоре, — я встретил Майтрейи на веранде. Я приветствовал ее, почти машинально соединив ладони у лба, почему-то я счел неуместным приподнять свою каскетку. (Думал, что оскорблю ее не принятым в их народе приветствием, или, может быть, хотел завоевать ее доверие?)

— Кто вас научил здороваться по-нашему? — спросила она, улыбнувшись с неожиданным дружелюбием.

— Вы, — ответил я, вспомнив плачевную встречу наших машин.

Она молча взглянула на меня, лицо ее исказилось страхом, губы задрожали, и она выбежала в коридор. Я пошел к себе, совершенно сбитый с толку, решив поговорить с инженером, посвятить его в мои затруднения и попросить совета.

Несколько дней спустя, когда я, вернувшись из конторы, валялся на кровати, усталый, без единой мысли в голове, Майтрейи постучала в мою дверь.

— Скажите мне, пожалуйста, когда должен приехать отец? — спросила она, в смущении переминаясь на пороге.

Я ошалело вскочил, по-прежнему не зная, как держать себя с этой девушкой, и ответил на ее вопрос гораздо многословнее, чем требовалось, не смея к тому же предложить ей войти и присесть.

— Меня мама послала, — робко объяснила она, но глаза ее смотрели прямо в мои глаза. — Вам у нас скучно, и вы поэтому все время сидите взаперти. Мама говорит, что, если вы будете работать после заката, вы заболеете.

— А что же мне еще делать после заката? — поинтересовался я.

— Если хотите, можете поразговаривать со мной… Или погулять. Навестить друзей.

— У меня больше нет друзей, — признался я честно. — Мне не к кому пойти. А гулять я гуляю достаточно, когда иду с работы.

— Вам было веселее там, на Уэллсли-стрит, — сказала она с улыбкой. И, словно что-то вспомнив, повернулась и пошла на веранду. — Пойду посмотрю, нет ли писем.

Я остался ждать ее, прислонясь к косяку. Она напевала на свой манер, без мелодии, как обычно по вечерам, перед сном. Я знал, что наверху, окнами на пустынную улочку, располагается ее комната с балконом, густо заросшим красной глицинией. Мне слышно было, как она поет или отчитывает младшую сестру, как выходит на балкон — оттуда доносился короткий возглас вспугнутой птицы, когда она отвечала на чей-то зов снизу: «Giace!»

Она вернулась с веером писем и остановилась передо мной, пытаясь завязать ключик в край своего сари.

— Почтовый ящик доверен мне, — с гордостью сказала она и добавила, погрустнев, разглядывая надписи на конвертах: — Только мне никто не пишет.

— А кто вам должен писать?

— Люди. Зачем же почта, как не затем, чтобы получать письма от людей, которых не видишь?

Я смотрел на нее, не понимая. Она тоже задумалась, прикрыв веки, испуганная чем-то.

— Мне показалось, я сделала грамматическую ошибку, — объяснила она свое волнение.

— Никакой ошибки.

— Тогда почему вы на меня так посмотрели?

— Я не очень хорошо вас понял. Как это вы ждете писем от незнакомых людей?

— Так не может быть, да? Вот и отец говорит то же самое. Отец говорит, что вы очень умный, это правда?

Я глупо улыбнулся, попытался сострить, а она предложила:

— Хотите посмотреть террасу?

Я с радостью согласился, я уже давно мечтал попасть на крышу дома, вволю наглядеться на небо, на купы кокосовых пальм, на сад, увидеть сверху весь этот квартал — сплошные виллы и парки, где я поначалу пропадал целыми днями.

— Я могу пойти прямо так, как есть?

Теперь она смотрела, не понимая. Я объяснил:

— Без воротничка, без пиджака, в тенниских на босу ногу.

Она смотрела все так же. Потом вдруг спросила со жгучим любопытством:

— У вас как ходят на террасу?

— У нас нет террас.

— Что, совсем?

— Совсем.

— Как это, должно быть, грустно. А солнце, где же вы тогда видите солнце?

— На улице, в поле, где придется.

Она на минуту задумалась.

— Поэтому вы белые. Это очень красиво. Я бы тоже хотела быть белой, но это невозможно, правда?

— Не знаю, но похоже, что так. Разве что пудриться.

Она сделала презрительную мину.

— Пудра смывается. Вы пудрились, когда были маленьким?

— Нет, у нас никто не пудрится, когда маленький.

Она просияла.

— Кто пудрится, тот заболевает. И Толстой так говорит.

Я посмотрел на нее, наверное, совсем ошалело, потому что она тут же приняла очень серьезный вид.

— Граф Луи (она произнесла Lew по-английски) Толстой, великий русский писатель, вы не знаете? Он очень красиво пишет; и потом, он был очень богатый, но под старость все оставил и ушел в лес, совсем как индиец…

Тут она вспомнила про свое намерение повести меня на террасу. Мы стали подниматься по лестнице, мимо женских комнат, я — в смущении, она — пытаясь говорить нарочито громко. (Для мамы, как она призналась мне позже, показать, что она меня «развлекает»: госпожа Сен ночи не спала, терзаясь, что я остался без «развлечений», то есть без патефона и без друзей.) Наверху было потрясающе. Я бы никогда не подумал, что мир выглядит совсем по-иному, если смотреть с крыши, так тиха отсюда была наша цитадель, так зелен квартал. Я каждый день проходил под деревьями Бхованипора, но не представлял, что их такое множество. Я перегнулся за парапет и стал смотреть вниз, во двор. Вспомнил день, когда увидел, как Майтрейи катается от смеха по крыльцу. Кажется, с тех пор прошли годы. Годы прошли и с тех пор, как Майтрейи боязливо встала в дверях моей комнаты с вопросом: «Скажите, пожалуйста, когда должен приехать отец?»… Я по-прежнему не понимал ее. Теперь она казалась мне ребенком, дикаркой. Меня очаровывали ее речи, этот наив, эта скачущая логика мысли, и еще долгое время спустя я искренне считал, что превосхожу ее по развитию.

— Моя сестра не очень хорошо говорит по-английски, — сказала она, подводя ко мне за руку Чабу. — Но все понимает. Она просит вас рассказать ей сказку… Я тоже люблю сказки.

На меня снова нашло оцепенение, я стоял перед этими двумя девочками, которые держались за руки, под вечереющим небом, какого я никогда прежде не видел, со странным ощущением сна, мгновенной смены декораций. Как будто кто-то внезапно поднял занавес. Или перемена была во мне?

— Я давно не читал сказок, — ответил я после довольно долгой паузы. — Но даже не в этом дело: из меня плохой рассказчик. Нужен

особый дар, чтобы рассказывать сказки. Это не каждый умеет.

Их личики выразили такое искреннее огорчение, что я почувствовал себя виноватым и стал думать, а не помню ли я все же какую-нибудь сказку из детства? Но ни одна не приходила мне на ум. Я обозвал себя бестолочью и от сознания собственной ограниченности совсем потерялся. Быстро перебрал в памяти: Перро, Гриммы, Андерсен, Лафкадио Херн… Мне казалось, что все они слишком известны, не рассказывать же им историю про Красную Шапочку, или про Спящую царевну, или про Зачарованный клад. Я хотел припомнить какую-нибудь неизвестную сказку, с приключениями и разными перипетиями, чтобы понравилось и Майтрейи. Что-нибудь достойное интеллигентного, начитанного юноши; что-нибудь оригинальное, сильное, символическое. Но именно ничего символического мне и не приходило в голову.

— Расскажи мне сказку про дерево, — сказала Чабу и взглянула на сестру — правильно ли она выразилась.

Я решил, что смогу сымпровизировать, и начал:

— Росло однажды дерево, а в корнях этого дерева был зарыт клад. Один рыцарь…

— Что такое рыцарь? — перебила Чабу.

Сестра объяснила ей по-бенгальски, а я тем временем судорожно прикидывал, что сказать дальше.

— Одному рыцарю ночью приснилась фея и указала ему место, где зарыт клад. — Я понимал, что несу чушь, мне было стыдно глядеть на сестер, и я нагнулся, как бы завязать шнурки. — С помощью волшебного зеркальца рыцарь нашел клад. — Продолжать я был не в силах. Мне казалось, что Майтрейи угадывает мой провал, но, покосившись на нее, я заметил, что она слушает очень внимательно и, по-видимому, с большим интересом. — Каково же было его удивление, когда он увидел, что под деревом сидит настоящий дракон — глаза горят, из пасти дым. — Я покраснел при последних словах. — Тогда рыцарь…

— А дерево? — перебила Чабу. — Что сказало дерево?

— Это было не волшебное дерево, оно не умело говорить, так что оно промолчало.

— А разве надо быть волшебным, чтобы говорить? — спросила Чабу.

Я пришел в легкое замешательство и отметил про себя: пантеизм.

— Что поделаешь, такие у нас сказки. Там не у всех деревьев есть душа, только у волшебных.

Чабу очень горячо стала обсуждать что-то с Майтрейи, и я в первый раз пожалел, что не понимаю их языка. Звуки его были по-итальянски нежны, гласные произносились нараспев, готовые с минуты на минуту перейти в песню.

— Что она говорит? — спросил я у Майтрейи.

— Она пытает у меня, есть ли душа у ее дерева. Я ей говорю, что у всех деревьев есть душа.

— А у нее есть свое дерево?

— Не то чтобы дерево, скорее куст, тот, что растет под верандой. Чабу приносит ему каждый день еду: лепешки и пирожные и вообще понемножку от всего, что ест сама.

Я был в восторге — на какой редкостный этнографический материал я напал — и твердил в уме: пантеизм, пантеизм.

— Но, Чабу, дерево же не ест лепешек.

— Как это, я же ем! — ответила она, очень удивленная моим замечанием.

Я решил по свежим следам записать мое открытие и под предлогом, что должен выкурить трубку, спустился к себе. Закрыл дверь на засов и записал в дневнике: *«Разговор с Майтрейи, первый раз. Замечательный примитивизм мышления. Ребенок, который начитался больше чем нужно. Мой позор на террасе — я не способен придумать сказку; какой-то ступор перед наивностью, неискушенностью, может быть, из-за этого. Настоящее открытие — Чабу, пантеистическая душа. Наделяет своими ощущениями неодушевленные предметы; например, дает лепешки дереву, потому что сама их ест. Очень интересно».*

Записав в дневнике эти несколько строк, я растянулся на кровати и задумался. Не знаю, что за сомнения одолели меня тогда, но спустя несколько минут я встал и добавил в дневнике: *«А может, я ошибаюсь…»*

Вечером мы работали с инженером в его кабинете. Перед тем как разойтись, он коснулся моего плеча и сказал:

— Ты нам очень дорог, Аллан, моей жене и мне. Мы хотим, чтобы ты чувствовал себя у нас как дома. Ты можешь свободно ходить по

всем комнатам. Мы не ортодоксы, и у нас в доме нет женской половины, мужской половины. Если тебе что-то будет нужно, прошу тебя, скажи моей жене или Майтрейи. Я полагаю, вы с ней уже подружились…

Сегодняшнее происшествие позволило бы мне сказать «да». Все же я выложил ему свои трудности.

— Любая индийская девушка ведет себя так с иностранцем…

И он рассказал мне, как однажды они были приглашены к чаю в итальянское посольство, и консул, сопровождая Майтрейи по внутреннему дворику, взял ее под руку, потому что шел дождь, а зонтик был всего один. Этот жест со стороны незнакомого мужчины так перепугал Майтрейи, что она кинулась под дождь на улицу, забралась в машину, проплакала до самого Бхованипора и затихла только на руках у матери. А случилось это всего год назад, когда Майтрейи было уже почти пятнадцать лет, она уже сдала вступительные экзамены в университет и готовилась стать бакалавром искусств. Другой раз знакомое европейское семейство пригласило ее в свою ложу в оперном театре, и когда один милый юноша попытался в темноте взять ее за руку, Майтрейи сказала ему на ухо, но так, чтобы все слышали: «Хочешь получить в зубы?» Паника, все повскакали с мест. Вмешалась сама госпожа Х. (имя слишком известное в Калькутте, чтобы упоминать его вслух). Последовали объяснения и извинения. «Я что, допустила грамматическую ошибку?» — спросила Майтрейи.

Я смеялся от души, хотя и спрашивал себя: она наивна или дурачит нас всех? Может быть, она просто оттачивает свое остроумие и хохочет за нашей спиной? Мне было не уйти от этой мысли всегда, когда я слышал ее смеющийся голос из соседней комнаты.

— Ты знаешь, что Майтрейи пишет стихи? — с гордостью спросил меня инженер.

— Подозревал, — ответил я.

Однако это открытие вызвало во мне раздражение. Все девушки пишут стихи. Я видел, что инженеру хочется изобразить дочь как этакого вундеркинда, и меня покоробило. И раньше бывали дни, когда я присматривался к ней с досадой, думая: какие в ней таланты, что она так самоуверенна?

— Она пишет философские стихи, они очень нравятся Тагору, — добавил инженер, наблюдая за мной.

— Да? — Я постарался изобразить равнодушие.

Спускаясь по лестнице, я встретил Майтрейи, выходившую из библиотеки.

— Я не знал, что ты поэтесса, — сказал я, пытаясь говорить язвительно.

Она покраснела и прижалась к стене. Меня стала уже нервировать эта ее болезненная чувствительность.

— В общем-то, тут нет ничего плохого, если ты пишешь стихи. Лишь бы они были красивые.

— А откуда вы знаете, что они некрасивые? — спросила она, листая том, который несла из библиотеки.

— Красивые, не сомневаюсь. Мне только интересно, что ты можешь знать о жизни, чтобы писать философские стихи?

Она задумалась и вдруг рассмеялась, стыдливо скрестив руки на груди.

— Чему ты смеешься?

Она оборвала смех.

— Я не должна была смеяться?

— Не знаю. Я ничего тут у вас не понимаю. В конце концов, каждый поступает, как ему нравится. Я просто спросил тебя, чему ты смеешься, я думал, что ты можешь мне объяснить.

— Отец говорит, что вы очень умный. — (Я поморщился). — Поэтому я все время боюсь сделать какую-нибудь ошибку, чтобы не раздражить вас.

— А почему ты так боишься меня раздражить?

— Потому что вы наш гость. А гостей посылает Бог…

— А если гость — плохой человек? — Я экзаменовал ее, как ребенка, хотя лицо ее было серьезным, почти мрачным.

— Бог позовет его обратно, — быстро ответила она.

— Который Бог?

— Его Бог.

— Как, у каждого человека — свой Бог?

Я нажал на слово «свой». Она посмотрела на меня, подумала, опустила веки, а когда подняла их снова, взгляд был влажным.

— Я ошиблась, да?

— Как я могу знать, — сказал я, пытаясь скрыть замешательство. — Я же не философ.

— А я — да, — выпалила она, не колеблясь. — Я люблю думать, сочинять стихи, мечтать.

«Тоже мне, философиня!» — подумал я и улыбнулся.

— Я хотела бы быть старой, — вдруг проговорила она с таким чувством, с такой тоской, что я вздрогнул. — Старой, как Роби Тхакур.

— Кто это — Роби Тхакур? — спросил я в непонятном волнении.

— Тагор. Я хотела бы быть старой, как он. Когда ты старый, ты больше любишь и меньше страдаешь.

И, вдруг застыдившись, метнулась прочь, но сдержала себя и остановилась, может быть поняв по моему виду, что мне тоже нелегко с ней.

— Мама ужасно огорчилась: она прочла в одной книжке, что в Европе по вечерам едят суп. Мы вас никогда не угощали супом, поэтому вы у нас такой худой. Мы все отвары выливаем птицам.

— Но я вовсе не люблю супов, — попытался я ее успокоить.

— А лучше бы вы любили! — сказала она, и глаза ее сверкнули.

— Да какая разница, в конце концов?

— Для мамы есть разница…

Она не договорила. Я смешался и не знал, что думать об этих перепадах настроения, о внезапной ярости в глазах. Может быть, я ляпнул что-то не то, подумалось мне.

— Прости, пожалуйста, если что не так, — сказал я мягко. — Я не знаю, как вести себя с индийцами…

Она уже шагала вверх по лестнице. Моя реплика заставила ее обернуться. На этот раз взгляд ее был таким странным (о, эти ее взгляды, всегда разные, никогда не повторяющиеся), что я замер, не сводя с нее глаз.

— Зачем вы попросили у меня прощенья? Вам нравится меня мучить?

— Ив мыслях не было, — ошеломленно ответил я. — Мне показалось, что ты обиделась, вот я и…

— Разве может мужчина просить прощения у девушки?

— Ну а как же, если он в чем-то не прав… В общем, так положено…

— У девушки?

— И у ребенка, — похвастался я. — По крайней мере…

— Так делают все европейцы? Я поколебался.

— Настоящие европейцы — да.

Она задумалась и на секунду закрыла глаза, но только на секунду, потому что тут же прыснула со смеху и снова стыдливо скрестила на груди руки.

— Может быть, они просят прощенья только друг у друга, белые у белых. У меня они попросили бы прощенья?

— Конечно.

— И у Чабу?

— И у Чабу.

— Чабу чернее меня.

— Разве?

У нее снова засверкали глаза.

— Да, да. Мы с мамой белее, чем Чабу и отец. Вы не замечали?

— Ну и что, какая разница?

— Как какая разница? Чабу будет труднее выйти замуж, потому что она чернее и за ней придется дать гораздо больше денег…

Выговорив все это, она зарделась, задрожала. Я тоже был смущен, потому что со времен Люсьенова визита несколько расширил свои знания индийских обычаев и понимал, как неприятно индийской девушке говорить об этих торгах. На наше счастье, Майтрейи окликнула госпожа Сен, и она бросилась вверх по лестнице, очень довольная, зажимая под мышкой книгу и крича:

— Giace!

Я вернулся в свою комнату в полном восторге от всего, что открыл в этот день. Умылся, потому что приближалось время ужина (мы ели очень поздно, часов в 10–11, как принято в Бенгале, а после ужина сразу ложились спать), и раскрыл дневник, чтобы сделать еще запись. Но, повертев в руках перо, захлопнул тетрадь: глупости…

V

Должен сказать, что мысли о любви ни разу не приходили мне в первые месяцы, проведенные в обществе Майтрейи. Она интересовала меня как феномен, и эти семь печатей на ее жизни будоражили мое воображение. Если я что думал о Майтрейи, если заносил в дневник ее словечки и разные подробности встреч, если она вызывала во мне некоторый беспокойный интерес, то это потому, что в ее глазах, в ее ответах, в ее смехе были странность и непонятность. Не стану отрицать, меня к ней тянуло. Необъяснимо волновала даже ее походка. Но я солгал бы, умолчав, что все мое существование в Бхованипоре, а не только эта девушка, казалось мне таинством и волшебством. Я так внезапно и так безоговорочно вошел в быт, где все читалось мной как тайнопись, что, очнувшись порой от этого индийского сна, вспоминал себя прежнего с улыбкой. Я стал другим человеком. Мой прежний мир потускнел, я не встречался ни с кем, кроме гостей семьи Сен, и даже круг чтения у меня изменился, я постепенно утрачивал интерес к математической физике и все больше увлекался романами, политикой, а потом и историей.

Однажды Майтрейи спросила меня, не хочу ли я учить бенгальский язык, она бы давала мне уроки. Поселившись у них в доме, я счел нужным сразу купить себе простенький разговорник и штудировал его украдкой, пытаясь ухватить смысл слов, которые Майтрейи кричала, когда ее звали или когда она была чем-то недовольна. Так я узнал, что «Giace» означает «иду», а замеченное мной в каждой их беседе «ki vishan!» — нечто вроде возгласа удивления: «Надо же!» Но я понимал, что на разговорнике далеко не уедешь, и поэтому согласился брать уроки у Майтрейи. Взамен я должен был учить ее французскому.

В тот день после обеда мы принялись за дело. Мне казалось неловким уединяться с Майтрейи в моей комнате, и я предложил библиотеку, но инженер заметил, что у меня в комнате нам будет спокойней. (Видимые усилия, которые Сен употреблял на то, чтобы сблизить нас с Майтрейи, и излишняя снисходительность госпожи Сен смущали меня все больше, развивали подозрительность: не хотят ли

они меня женить? По логике вещей, я знал, это было исключено: допустив подобную свадьбу, они оказались бы вне касты, потеряли бы имя.)

Мы сели за стол на почтительном расстоянии друг от друга, и Майтрейи начала урок. Я сразу понял, что не смогу учить бенгальский иначе как в одиночку. Она объясняла все так красиво и так пристально глядела мне в глаза, что я отключался от смысла, ничего не запоминал и лишь время от времени ей поддакивал.

Я весь обратился во взгляд, отдался тому флюидному току, который не имеет ничего общего с глазами, хотя исходит из них. Я никогда не видел существа столь изменчивого, так отвергающего всякую статику. У меня в ящике стола сохранились три фотографии Майтрейи, но напрасно я смотрю на них, ее не узнать ни на одной.

По нашему уговору последовал урок французского. Я начал с местоимений и с алфавита, Майтрейи очень скоро прервала меня:

— Как будет: «Я молодая девушка»?

Я сказал, и она повторила, совершенно счастливая:

— Je suis jeune fille, je suis jeune fille!

Произношение ее было удивительно чистым. Но вообще урок пошел насмарку, потому что она меня все время перебивала, заставляя переводить на французский совершенно бессмысленные фразы.

— Вы что-нибудь скажете, потом переведете, а я повторю, — придумала она наконец свою методу.

Последовал ряд очень странных бесед, потому что Майтрейи все время допытывалась у меня, перевожу ли я ей точно то, что сказал по-французски.

— Я говорю одно, а перевожу другое, — призналась она.

Уроке на третьем или четвертом она перестала смотреть мне в глаза, утыкалась в тетрадку, писала десятки раз: *«Роби Тхакур, Роби Тхакур»,* подписывалась, рисовала цветок, каллиграфически выводила: *«Калькутта», «Мне очень жаль», «Почему?»* или набрасывала по-бенгальски стихи. Я, не видя ее глаз, говорил как лектор перед аудиторией, но сделать ей замечание не решался.

— Почему ты не скажешь, что это нехорошо — писать, когда с тобой разговаривают? — вдруг спросила она, поднимая на меня глаза, очень «женским» голосом, заставшим меня врасплох.

Я что-то промямлил и продолжал урок, правда несколько разозлясь. Она снова склонилась над тетрадкой и написала: *«Поздно, слишком поздно, но еще не поздно».*

— Что это значит? — не удержался я от вопроса.

— Так, одна игра, — небрежно проронила она, стирая написанное букву за буквой и вырисовывая по цветочку на месте каждого слова. — Вот что я подумала: я буду давать уроки французского Чабу.

Я так искренне расхохотался, что развеселил и ее.

— Ты думаешь, не смогла бы? Я была бы учителем получше тебя, пусть и французского языка…

Она говорила с наигранной серьезностью, косясь на меня лукаво, как никогда раньше, и я почувствовал радость и волнение, потому что так мы становились свои. Я лучше понимал ее, когда она вела себя по-женски, чем когда она была «пантеисткой», представления которой уходили в бездну времен. Я сказал ей что-то по-французски без перевода. Она оживилась, с румянцем в лице попросила меня повторить и, схватив французско-английский словарь, стала разыскивать слова, которые уловила в моей таинственной фразе (на самом деле я брякнул какую-то банальность). Не нашла ни одного и осталась весьма недовольна.

— Ты не умеешь играть, — обвинила она меня.

— А я и не собираюсь играть на уроках, — отрезал я как можно суше.

Она задумалась, на секунду прикрыв веки, по своему обыкновению. Веки у нее были бледнее, чем все лицо, с прелестной и легкой синеватой тенью.

— Пойду посмотрю, нет ли писем, — сказала она, поспешно поднимаясь из-за стола.

Я ждал ее в некотором раздражении, потому что видел, что успехов она не делает, и боялся, как бы инженер не подумал, что это моя вина. Вернулась она очень быстро, какая-то удрученная, с двумя гроздьями красной глицинии. Села и спросила меня:

— Мы не продолжим урок? Je suis jeune fille…

— Это ты усвоила, а еще что-нибудь?

— J'apprends le français…

— Это мы проходили на прошлой неделе.

— А ту девушку, в машине, ты тоже учил французскому? — спросила она ни с того ни с сего, настороженно взглядывая на меня.

Я понял, что это она о Герти, которую видела в моих объятиях, покраснел и стал оправдываться:

— Ее бы я не научил, даже если бы хотел. Она была глупая. Ее хоть пять лет учи…

— А тебе сколько будет через пять лет? — перебила меня Майтрейи.

— Тридцать, тридцать первый, — ответил я.

— Вдвое меньше, чем ему, вдвое с лишним, — пробормотала она.

Опустила глаза в тетрадку и стала выводить *«Роби Тхакур»* бенгальскими и латинскими буквами. Я занервничал: во-первых, я не понимал, что это за страсть к семидесятилетнему мужчине; во-вторых, оставалась в стороне тема Герти, а мне почему-то вдруг захотелось вызвать в Майтрейи ревность; наконец, я подозревал, что она просто куражится надо мной, играя в наивность. Я ни за что на свете не допустил бы, чтобы надо мной издевалась шестнадцатилетняя девчонка, с которой меня связывала не любовь, а лишь интеллектуальные удовольствия. Поэтому я долгое время предпочитал по-иному трактовать ее попытки поддеть меня и выставить на смех. В конце концов, думал я, мы живем под одной крышей, я — первый мужчина, которого Майтрейи узнала поближе, к тому же белый, так что у нее есть причины хотеть мне понравиться. Эта мысль меня очень грела и придавала мне смелости: я чувствовал себя неуязвимым, не поддающимся игре, предметом ее возможной страсти — и никак от нее не зависящим. Дневник тех дней дает этому щедрые свидетельства. Я наблюдал игры Майтрейи абсолютно трезво. В самом деле, с тех пор как она справилась со своей первоначальной стыдливостью и начала говорить со мной свободно, у меня все время было впечатление, что она играет.

Она поднялась, собрала книжки, взяла одну гроздь глицинии, а вторую оставила.

— Я выбирала самые красивые, — сказала она, не глядя на меня. И шагнула к дверям.

— Ну и забери их с собой, — бросил я вслед, набивая трубку, чтобы показать, как мне мало дела до ее забав.

Она послушно вернулась, поблагодарила за урок, взяла вторую гроздь и вышла. Но тут же просунулась в дверь, метнула цветок на стол (другой был уже приколот к ее волосам) и убежала. Я слышал, как она скачет вверх по лестнице, через две ступеньки, и не знал, что думать: признание в любви? Раскрыл дневник и записал эту сцену с глупыми комментариями.

На другой день после утреннего чая Майтрейи мимоходом спросила меня, что я сделал с цветком.

— Засушил, — соврал я, решив: пусть думает, что во мне тоже зреет идиллия.

— А я свой обронила на лестнице, — меланхолично призналась она.

Я целый день вспоминал эту сцену, и у меня разыгралось воображение. Вернувшись из конторы, я посмотрел в зеркало и впервые в жизни подумал, что мне не мешало бы быть покрасивее. Однако мне достало юмора увидеть себя со стороны, как я кривляюсь перед зеркалом, будто какая-нибудь кинозвезда, и я со смехом плюхнулся на кровать, радуясь, что все же я не кретин и голова у меня ясная. В эту минуту вошла Майтрейи с книгами под мышкой.

— Сегодня будем заниматься? — смиренно спросила она.

Мы начали с бенгальского, в котором я уже продвинулся, потому что по вечерам учил его самостоятельно и с Чабу говорил только по-бенгальски. Майтрейи дала мне задание, но, когда я начал писать, спросила:

— Куда ты дел глицинию?

— Она под прессом.

— Покажи.

Я замялся, потому что на самом деле выбросил гроздь в окно.

— Не могу, она далеко, — сказал я.

— Ты держишь ее в потайном месте? — загорелась она.

Я промолчал, оставив вопрос открытым, и занялся переводом. Когда она ушла, я сорвал на веранде гроздь глицинии поярче и положил в книгу, присыпав слегка пеплом из трубки, чтобы она выглядела увядшей. За обедом Майтрейи сияла, и глаза ее все время смеялись.

— Мама говорит, что мы занимаемся глупостями…

Я похолодел и перевел глаза на госпожу Сен, которая улыбалась совершенно благодушно. Мысль, что она поощряет и наши сентиментальные выходки, меня убили. Я решил, что это всеобщий заговор, имеющий целью свести меня с Майтрейи. Теперь все объяснилось: и почему нас постоянно оставляют одних, и почему инженер проводит вечера в своей комнате за чтением детективов, и почему ни одна из женщин, живущих наверху, никогда не спускается посмотреть, что мы делаем. Мне захотелось тут же бежать из этого дома, потому что для меня нет ничего более отвратительного, чем матримониальный заговор. Я опустил глаза в тарелку и ел молча. За столом нас было только трое: Майтрейи, госпожа Сен и я. Инженер ужинал в гостях. Майтрейи болтала не переставая. Я, впрочем, давно заметил, что она молчит лишь в присутствии отца или посторонних. Со всеми нами, домашними, она была весьма разговорчива.

— Ты должен перед сном гулять, — сказала Майтрейи. — Мама говорит, что ты опять похудел…

Я что-то буркнул в ответ довольно холодным тоном. Госпожа Сен немедленно это уловила и стала расспрашивать Майтрейи по-бенгальски, а та отвечала, насупившись, притопывая под столом ногой. Я делал вид, что ничего не замечаю, но мне было больно видеть, что я огорчил госпожу Сен, которую любил как мать, несмотря на ее моложавый и застенчивый вид. Когда я пошел к себе, Майтрейи нагнала меня в коридоре.

— Верни мне, пожалуйста, цветок.

Она была явно взволнована, даже допустила очень серьезную грамматическую ошибку. Я не решился пригласить ее в комнату, было уже поздно, но она вошла и без приглашения. Я подал ей спрессованную гроздь глицинии и сказал что-то вроде того, что это с возвратом, потому что я все же хочу ее сохранить, или еще какую-то душещипательную чепуху. Она взяла гроздь дрожащей рукой, рассмотрела, и ее чуть не повалил хохот, так что она должна была ухватиться за дверь.

— Это не моя, — выговорила она, ужасно довольная.

Наверное, я слегка побледнел, потому что она посмотрела на меня торжествующе.

— Как ты можешь говорить такое? — Я попытался изобразить негодование.

— В ту я вплела свой волос.

Она еще раз бросила на меня взгляд, кажется, совершенно ублаготворенная, и убежала. Далеко за полночь я слышал пение из ее комнаты.

VI

Раз ближе к вечеру в мою дверь постучали. Отворив, я увидел инженера, одетого для выхода, и Майтрейи в наряднейшем сари цвета свежих кофейных зерен, в шоколадном покрывале и золотых туфельках. В руках она держала свиток.

— Моя дочь читает сегодня лекцию о сущности прекрасного, — объявил инженер.

Я изобразил улыбку восхищения. Майтрейи теребила кончик покрывала. Она была тщательно причесана и надушена «Кеора атар», я уже знал резкий запах этих духов.

— От всего сердца желаю успеха. Главное — не робеть, — напутственно произнес я.

— Это не первое ее выступление, — с гордостью сказал инженер. — Жаль, что ты не так хорошо понимаешь по-бенгальски, тебе тоже было бы интересно послушать…

Они ушли, а я остался в некотором смятении чувств. Снова сел за книгу, но мне не читалось — перед глазами неотступно стояла Майтрейи, разглагольствующая о высоких материях. «Или это все фарс, или я просто осел, — думал я. — В жизни бы не заподозрил, что эта девчонка может что-то смыслить в таких серьезных вещах. Сущность прекрасного, надо же…»

Часа через два, услышав шум подъезжающей машины, я пошел встретить их на веранду. Майтрейи показалась мне не в духе.

— Ну как? — спросил я.

— Мало кто понял, — со вздохом ответил инженер. — Она взяла слишком глубоко, говорила о таких сокровенных предметах: творчество и эмоция, перевод прекрасного в духовное… — публика не всегда поспевала за развитием мысли.

Я вопросительно посмотрел на Майтрейи, но она, и не взглянув в мою сторону, побежала вверх по лестнице. Из ее комнаты послышался стук закрываемых окон. Я не находил себе места и, надев каскетку, пошел пройтись по парку. Спускаясь во двор, я услышал:

— Куда ты?

Майтрейи, в белом домашнем сари, с обнаженными руками и распущенными волосами, перегнулась через балюстраду своего балкона. Я ответил, что хочу пройтись по парку и заодно пополнить запасы табака.

— За табаком можешь послать кого-нибудь из слуг.

— А мне что тогда делать?

— Поднимайся сюда, если хочешь, поговорим.

Предложение меня взволновало: хотя я мог свободно расхаживать по всему дому, но в комнату Майтрейи пока что вхож не был. В мгновение ока я взлетел наверх. Она поджидала меня в дверях: лицо усталое, а губы неестественно красные. (После я узнал, что, выезжая «в свет», она красит их бетелем, по бенгальским правилам хорошего тона.)

— Прошу тебя, сними ботинки, — попросила она.

Я остался в одних носках, ощущая от этого крайнюю неловкость. Она предложила мне сесть на подушку у балконной двери. Комната была больше похожа на келью. По размерам такая же, как моя, а обстановка — кровать, стул и две подушки на полу. На балконе, правда, приткнулся еще маленький письменный столик. Ни зеркала, ни картины на стенах, никаких шкафов.

— На кровати спит Чабу, — сказала она с улыбкой.

— А ты?

— А я — вот на этой циновке.

Она вытащила из-под кровати тоненькую бамбуковую циновку. Я был потрясен и смотрел на Майтрейи как на святую. Она продолжала задумчиво:

— Я часто сплю на балконе: бриз веет, и я слышу внизу улицу. — (Улицу, по которой после восьми вечера никто не ходил, скорее уголок парка.) — Я люблю слушать улицу, — повторила она, глядя вниз с балкона. — Кто знает, куда ведет эта дорога…

— На Клайв-стрит, — сострил я.

— А с Клайв-стрит?

— К Гангу.

— А дальше?

— К морю.

Она вздрогнула и вернулась в комнату.

— Когда я была совсем маленькая, еще меньше, чем Чабу, мы каждое лето ездили на море, в Пури. Там у дедушки был отель. В Пури волны — на других морях таких волн нет. С наш дом высотой…

Я представил себе волну высотой с дом, а рядом Майтрейи, читающую лекцию о сущности прекрасного, и не мог сдержать снисходительной улыбки.

— Чему ты улыбаешься? — серьезно спросила она.

— По-моему, ты преувеличиваешь.

— А если и так, обязательно надо смеяться? Дедушка, например, тоже преувеличивал: он родил одиннадцать детей…

И она отвернулась от меня к окну. Я решил на всякий случай извиниться и пробормотал что-то невнятное.

— Не надо, — сказала она холодно. — Сегодня у тебя не получается. Ты сам не веришь тому, что говоришь. Тебе нравится Суинберн?

Я уже привык к перепадам ее мысли и ответил, что Суинберн мне, в общем-то, нравится. Она принесла с балкона потрепанный томик и показала мне место из «Анактории», отчеркнутое карандашом. Я стал читать вслух. Очень скоро она забрала у меня из рук книгу.

— Может быть, тебе кто-то и нравится, но не Суинберн.

Я опешил и стал оправдываться, доказывая, что вообще вся романтическая поэзия не стоит одного стихотворения Поля Валери. Она слушала очень внимательно, глядя мне прямо в глаза, как на первых уроках французского, и одобрительно покачивая головой.

— Чашечку чая? — перебила она меня на полуслове как раз в тот момент, когда я критиковал философскую поэзию как таковую, называя ее неполноценным гибридом.

Я смолк в досаде. Она вышла на лестницу и крикнула вниз, чтобы принесли чаю.

— Надеюсь, ты не опрокинешь мне чайник на брюки, как тогда Люсьену!

Я думал, что она засмеется, но она вдруг застыла посреди комнаты, вскрикнула что-то по-бенгальски и метнулась в дверь. Ее шаги удалились по направлению к отцовскому кабинету, примыкающему к гостиной.

Вернулась она с двумя книгами.

— Вот, получила сегодня из Парижа, но эта лекция так заморочила мне голову, что я совсем про них забыла. — И она подала мне один из двух экземпляров «L'Inde avec les Anglais»[12] Люсьена Меца. — Это тебе.

Поскольку их прислал издатель, книги были без посвящения.

— Давай знаешь что сделаем? — предложил я. — Сами напишем друг другу посвящения!

Она захлопала в ладоши, принесла чернила и перо и едва сдерживала нетерпение, пока я писал: *«Моему другу Майтрейи Деви от ученика и учителя, на добрую память и пр.»*. Это «и *пр.»* понравилось ей больше всего. На своем экземпляре она написала только одно слово: *«Другу»*.

— А если книга попадет в чужие руки?

— Ну и что, каждый может быть мне другом.

Она села на циновку, обхватив руками колени, и смотрела, как я пью чай. Уже совсем смерилось. На улице зажегся фонарь, и тень кокосовой пальмы непомерно выросла и стала отливать голубым. Я думал, что поделывают другие обитатели дома, почему никогда не слышно ни голосов, ни шагов, не заговор ли это — оставлять нас всегда одних, теперь уже в ее комнате, освещенной только синеватым отблеском фонаря.

— *Сегодня* начало нашей дружбы, да? — спросила Майтрейи очень мягко, забирая у меня пустую чашку.

— Почему только сегодня? Мы давно друзья, с тех пор как у нас пошли серьезные разговоры.

Снова опустившись на циновку, она сказала, что, если бы мы были совсем друзья, она открыла бы мне тайну своей грусти. И смолкла, глядя на меня. Я тоже молчал.

— Роби Тхакур не пришел на мою лекцию, — проронила она наконец.

У меня потемнело в глазах. Захотелось крикнуть ей что-нибудь обидное, например, что она зря считает меня другом, что она смешна со своей влюбленностью…

— Ты в него влюблена, — бросил я в сердцах. И, наверное, добавил бы еще что-то, поехиднее, но она вдруг сухо спросила:

— Вам нравится сидеть в темноте с девушками?

— Не знаю, не пробовал, — ответил я наугад.

— Я хочу остаться одна, — проговорила она после паузы тоном крайней усталости и, уйдя на балкон, вытянулась там на циновке.

Я с трудом нащупал в потемках свои ботинки, обулся и, злой и растерянный, тихо спустился по лестнице. Во всех комнатах дома горел свет.

*** * ***

Из дневника за тот месяц:

«Она красива не правильной красотой, а какой-то бунтарской, вне всяких канонов, и ее очарование — магического свойства. Думал о ней всю ночь, не мог не думать. И теперь мне мешает работать ее призрак в сари небесного шелка с золотым орнаментом. А волосы… Как точно персияне уподобляли такие волосы змеям в своей поэзии. Что будет, что будет? Может, я все же отвлекусь?..

Дашь ли ты мне покой, Господи, утешитель мой?

Чабу написала сказку, и Майтрейи со смехом перевела мне ее сегодня на террасе. Примерно так: „У одною царя был сын по имени Пхул. Однажды он ехал верхом и приехал в большой лес. Вдруг все, кто с ним был, превратились в цветы, только принц и его *лошадь остались как были. Вернувшись во дворец, он рассказал об этом происшествии царю, но царь не поверил, стал ругать его за лживость и велел придворному панditу прочесть принцу примеры и наставления против лжи. Так как принц все равно стоял на своем, царь снарядил целое войско и отправился в тот лес. Вдруг они все превратились в цветы. Прошел один день. Тогда Пхул, царский сын, приехал в лес и привез с собой книги с примерами и наставлениями против лжи. Он раскрыл книгу и начал вырывать страницы и бросать их по ветру. Страницы разлетались — воины шивали, ожил и сам царь…“*

Отмечаю неприятные черты характера инженера. Он полон собой — просто невероятно, как он мнит о себе. Сегодня вечером на террасе он попросил меня рассказать ему о парижских кокотках. Он

собирается через несколько месяцев во Францию, лечить давление. У него бывают на этой почве приступы.

Приехал из Дели кузен инженера, Манту, будет преподавать тут в коммерческом училище. На вид ему лет 30, тощий и маленький. Живет в соседней комнате. Мы скоро подружились, и он признался мне, что приехал жениться. Он сам не хочет, но хочет господин Сен. А у него всякие предчувствия и страхи.

Чудак, когда говорит по-английски, закрывает глаза. И ужасно смешливый.

Брачная церемония, начатая четыре дня назад, завершилась сегодня вечером. Пиршество происходило и в доме невесты (она совсем черная, заурядной внешности, но очень приятная, зовут ее Лилу), и в доме у инженера. Интересна роль Сена: он устроил этот брак и теперь переживает — мол, Манту все что-то „выдумывает“. А Манту уважает его настолько, что пожертвовал бы для него и невинностью невесты. Такой обычай есть в некоторых районах Индии: ученик уступает prima nox[13] *своему гуру, — Манту же все время подчеркивает, что инженер ему не только родня, но и гуру.*

Я участвовал во всем, вникал во все детали, сам был в индийском шелковом костюме (честное слово, он мне к лицу, а мой искренний, неподдельный интерес и то, что я считал своим долгом говорить по-бенгальски, принесли мне популярность). Должен признаться, что индийское общество меня совершенно покорило. Как друзья индийцы бесценны. Я и сам иногда чувствую, что заражен любовью, в божественном, индийском смысле слова, любовью к каждой женщине как к матери. Никогда я не испытывал к госпоже Сен более преданного, чистого и благодатного сыновнего чувства, чем в эти дни. (Ее, по здешнему обычаю, все зовут мамой.) С тех пор, стоит мне завидеть на улице голубое, как у госпожи Сен, сари, это чувство возвращается: я становлюсь „сыном“, осеняемым самой бескорыстной, самой высокой на свете материнской страстью, какой не встретишь нигде, кроме Индии.

Мне нравилось представлять себя мужем Майтрейи. Не скрою, я блаженствовал, пока длилась церемония бракосочетания, и думал о Майтрейи как о своей невесте, своей возлюбленной. Но все-таки не терял головы. (Прим.: То есть я убеждал себя, что она не так уж и красива, критиковал ее бедра, слишком широкие при такой тонкой талии, придирчиво выискивал физические недостатки, пытаясь таким образом вызвать в себе неприязнь к ней. Но, как это часто бывает, с недостатками она делалась мне еще дороже.)

Не знаю, как понимать все эти намеки, которые делают мне друзья дома, — как шуточки? Или у них верный источник — серьезное намерение инженера женить меня? Один раз за столом я понял, что и госпожа Сен желала бы того же. Назвать это заговором я уже не могу (хотя одно время так считал), поскольку для них брак — это и счастье, и долг. К тому же хотя они любят меня искренне, от души, но все же это бенгальская элита, и Майтрейи могла бы составить себе партию более блестящую, чем я.

Интересно: я, женатый на Майтрейи, что бы я был такое? Неужели я мог бы до такой степени потерять соображение, чтобы попасть в эту ловушку? Она, вне всякого сомнения, самая талантливая и занятная из всех девушек, каких я когда-нибудь знал, но я просто-напросто не создан для брака. Что станет с моей свободой? Предположим, Майтрейи осчастливит меня согласием. Но как быть с моей страстью к бродяжничеству? Ведь моя жизнь — это скитания, это книги, которые я накупаю в каждом городе, чтобы бросить их в следующем.

Однако пока что я наслаждаюсь вполне. Сколько я увидел! Вчерашняя ночь — prima nox — опочивальня, тонущая в цветах, девичье пение на балконе, Майтрейи читает поэму, написанную специально для этой церемонии.

Эмоции, которых у меня переизбыток в последние дни: всякий раз, как я понимаю, что речь идет о возможности моего брака с Майтрейи или когда проскальзывает намек на это, я испытываю приступ сильнейшего волнения. Почва — повышенная нервозность, долгое воздержание, чисто сексуальное беспокойство и беспокойство душевное, страх перед будущим. Страх растет, но есть что-то захватывающее в самой нависшей надо мной угрозе, и я не решаюсь

объясниться, честно сказать, что не женюсь. Даже бежать не могу. Глупо было бы бежать. Я неизлечимо моральный человек, хотя мой демон-искуситель пытается сбить меня с этого пути. (Прим.: Дневник — почти всегда скверный психолог, чему подтверждением будут дальнейшие события. Я привожу из него выдержки, чтобы еще раз показать себе, какой нелепый крен дало мое воображение.)

Манту проболтался сегодня женщинам, передал мои слова, что я не собираюсь жениться и не женюсь никогда. Майтрейи вся — гнев и презрение, перестала приходить на уроки, больше не поджидает меня, когда я возвращаюсь с работы, и никаких бесед. В госпоже Сен тоже поубавилось сердечности.

Эти перемены меня задевают, хотя я желал их и меня пугало прежнее пристрастное отношение семейства.

Майтрейи сегодня целый вечер смеялась шуткам Кхокхи (бедный родственник инженера, парнишка, приехал по случаю свадьбы Манту, спит в коридоре). Я работал у себя в комнате, испытывая страшные муки ревности и стыдясь ее. (Прим.: На самом деле я был тогда не слишком влюблен. И все же ревновал к каждому, кто мог рассмешить Майтрейи.)

Я был равнодушен к Майтрейи все то время, пока испытывал на себе любовь всего семейства, разве что опасался матримониальной ловушки; но, как только раскрылось мое решение остаться холостяком и Майтрейи ко мне переменилась, она стала мила мне (Прим.: Неправда), *и я мучаюсь от ревности, от одиночества, сомневаюсь в избранном мною пути.*

Многое изменилось: обедаю только в обществе инженера и Манту, женщины садятся за стол после нас. Без Майтрейи это грустные трапезы. Послали бы меня с инспекцией куда-нибудь на юг Бенгала! А по возвращении под благовидным предлогом надо переехать от них. Эксперимент затянулся.

Два дня пасмурно и идет дождь. Сегодня — настоящий потоп. Я вышел на веранду посмотреть, как затопило улицы. Встретил Майтрейи, одетую крайне изысканно (вишневый бархат и черный шелк), она тоже вышла посмотреть. (Я знал, что у нее есть стихи о

дожде, может быть, она и сегодня сочиняла наверху, в своей комнате?) Мы перебросились словами, довольно холодно. Вид у нее рассеянный, безразличный. Мог ли я предполагать, что ей достанет женского чутья, чтобы так точно скорректировать свое поведение в новой ситуации?

Я стал чужим в этом доме, где только что купался в любви и нежности, самых искренних, самых индийских. Вдруг все покрылось корочкой льда, и всякая непринужденность исчезла. За столом я угрюм и молчалив, в своей комнате — почти болен. По временам ударяюсь в судорожную веселость, один танцую под собственный аккомпанемент (давненько со мной такого не случалось).

Со вчерашнего дня отношения с Майтрейи и со всем семейством вернулись в прежнее русло повышенной нежности. Может быть, из-за того, что я объяснил инженеру, когда мы встретились после работы, что Манту не просто поступил неделикатно, но и не очень верно понял мои представления о браке. (Прим.: Похоже, что та холодность, которую дневник приписывает краху проектов моей женитьбы на Майтрейи, проистекала из недоразумения. Манту сообщил им, что я издеваюсь над браком вообще, а поскольку у индийцев нет таинства более священного, чем брак, они и отреагировали так, возможно, неосознанно.)

Мы много смеялись вчера с Майтрейи, сегодня разговорились в библиотеке, вместе читали „Шакунталу“[14]*, сидя на ковре, потому что пришел ее учитель и она попросила, чтобы он разрешил мне присутствовать на уроке. Поздно вечером на террасе она самозабвенно читает нам наизусть из тагоровской „Mahuya“*[15] *и ускользает, не простясь, после стихов она не в силах говорить.*

Я люблю ее?»

VII

Из дневника за следующий месяц:

«Наедине с Майтрейи; говорим о мужских качествах: Уолт Уитмен, Папини и т. д. Она мало что читала, но слушает внимательно. Я ей нравлюсь, она сама сказала. И призналась, что хотела бы отдаться мужчине, как в одном стихотворении у Тагора, на морском берегу, в бурю. Литература.

Страсть набирает силу, что-то среднее между нежной дружбой, сексом и восхищением, все вперемешку, но очень естественно и захватывающе. Когда мы читаем вместе на ковре, от ее прикосновений у меня в голове мутится. Знаю, что и она чувствует то же. (Прим.: Ошибка. Майтрейи ничего такого не испытывала.) *Мы многое говорим друг другу через книги. Даже что мы хотим друг друга.* (Прим.: Опять промашка. Майтрейи захватывала только игра, иллюзия искушения, а не оно само. Она и представить себе не могла тогда, что такое настоящая страсть.)

Первый затянувшийся (до одиннадцати) вечер наедине с Майтрейи за переводом тагоровской „Vallaka“[16] *и за беседой. Инженер, вернувшись из города со званого ужина, застал нас в ее комнате, когда мы разговаривали. Я спокоен, не дергаюсь. Майтрейи в смущении хватается за книгу:*

— Мы занимаемся бенгальским...

Значит, и она лжет? (Прим.: Это дневник остолопа. Столько кривляний, чтобы понять одного-единственного человека! Я нисколько, признаюсь, не разбирался тогда в Майтрейи. Она не лгала, она просто забыла. Забыла, что я пришел к ней читать „Vallaka“, а при виде отца, естественным образом, вспомнила. Если бы это был кто-то другой, она бы не прервала разговора, но в присутствии отца у них не принято говорить, поэтому она и взялась за книгу.)

Сегодня я принес ей столько лотосов, что, когда она взяла их в охапку и поблагодарила меня, за ними не было видно ее лица. Я уверен,

что она меня любит. (Прим.: Надо же было так все толковать!) *Она целыми днями читает мне стихи и свои посвящает мне. Но я не люблю ее. Просто она не может не восхищать меня и не возбуждать, вся, целиком, и плоть и дух. Узнал о ней новое сегодня. Говорил с Лилу и пошутил, что передам мужу кое-какие ее слова.*

Лилу, лукаво:

— А что он может сделать?

Я:

— Не знаю, я не разбираюсь в мерах супружеского воздействия.

— Он ее накажет, тем или иным способом, — вмешалась Майтрейи и со смехом повторила последние слова, когда мы остались одни.

Итак, она знает?.. Впрочем, она ведь сама мне призналась, что хотела бы отдаться не помня себя, в исступлении. Она откровенничает со мной, как ни с кем, и я узнаю такие вещи, которые бы не заподозрил в первые дни знакомства. (Прим.: На самом деле Майтрейи просто-напросто *играла* и даже после того, как Лилу раскрыла ей тайну супружеской любви, ничего не поняла и повторяла некоторые выражения только потому, что они ей нравились.)

Вылазка в местный кинематограф на фильм с Химансуралом Реем: Майтрейи, Лилу, Манту и я. Болтали и смеялись до упаду. Но напоследок с Майтрейи случился обморок. Я не знаю, как это объяснить: темнотой, впечатлением от фильма или сексуальным спазмом из-за близости ко мне? Знаю только, что она фантастически чувственна, хотя чиста, как святая. Впрочем, это и есть чудо индийской женщины (по признанию моих бенгальских знакомых): девственница, которая с первой же ночи превращается в идеальную любовницу.

Майтрейи хочет вызвать мою ревность: идиллия с бенгальцем, молодым и красивым, который уехал учиться в Англию. Итак, перед нами проторенная дорожка мещанских сантиментов… (Прим.: Она-то имела в виду объявить мне о своем отказе от всего, что было *до меня.)*

Снова принес цветы. Она надулась, что я одарил и других девушек тоже, и госпожу Сен. Манту, кажется, заметил наше сближение, потому что, когда мы остаемся одни, он тут как тут. И хотя Майтрейи говорит ему, что это private talk[17], он не уходит.

Был в кино с инженером, он посетовал, что его поездка во Францию откладывается. Может, это намек на мое возможное соединение с Майтрейи? Вот вернусь и спрошу себя по-настоящему, дорога ли она мне. Хотя в машине меня все время преследовало видение нашего брачного ложа.

Гну свою линию, и это мне нравится. Избегаю встреч с Майтрейи, делая вид, что боюсь ее, что влюблен безумно и пр. Она вызвала меня сегодня утром на разговор, почти насильно ворвавшись ко мне в комнату. Эти отношения с индианкой — что-то немыслимое! Не знаю только, как из них выйти. Такая острота ощущений, так кипит кровь, но не влюблен же я. Это несерьезно.

Неожиданный выпад со стороны Майтрейи. Я зашел слишком далеко, изображая инфантильное чувство к ней (я полагал, что это ближайший путь к сердцу индианки). Только Майтрейи не просто индианка, но и характер, и притом чрезвычайно волевой. Она сказала, что ее отталкивает собачья преданность, обожание (она причисляет и меня к своим платоническим обожателям). Она считает, что это заурядные, тривиальные, незрелые чувства. Не выносит и презирает таких поклонников. Мечтает о незаурядном мужчине, который стоял бы выше жалкой сентиментальности. Мое отношение ее нервирует.

Ах, так? Тогда я меняю тактику. Чувственный дурман сразу пошел на спад, как только она сделала мне это признание. Она развязала мне руки, теперь я гораздо свободнее. Пусть попробует прийти ко мне в комнату! Я ей покажу, что мне плевать на телячьи нежности. Знаю, что она влюблена. Этого не скрыть. Знаю, что ей никуда от меня не деться. И если мы пробудем наедине двадцать четыре часа, она отдастся мне как миленькая.

Но какого черта она говорит все время, что и любовь как у всех ей тоже противна? Это меня задевает. Есть что-то получше?

Ни одна женщина так меня не волновала. Мои чувственные мучения— просто проклятье, а тут еще этот зной и столько дел на мою голову! Неужели такая уж тайна — ее тело? Сомневаюсь. Меня волнует каждое слово, каждый намек на опасность, то есть на мой брак с Майтрейи, который явно подготавливается. Знаю, что я под угрозой. Все идет к этому. Госпожа Сен просто одолевает меня своими материнскими чувствами. Инженер зовет меня „дитя“. (Прим.: Какой я был болван!)

Вечером, за столом, госпожа Сен жалуется, что я зову ее „госпожа“, а не „мама“, как принято в Индии. Она добра до святости и обезоруживает своей наивностью. Искренне люблю ее.

А дальше: пошло-поехало. Манту просит называть его дядей, а Лилу — тетей, хотя ей всего-то семнадцать лет. Забавно.

С Майтрейи — проблемы. Поссорились из-за пустяка (впрочем, это с нами случается по два раза на дню), и после она не знала, как ко мне подлизаться. Я напустил на себя мрачный вид и сел за работу. Но на самом деле был доволен, надеясь, что, может, даст трещину наша слишком тесная дружба и то, в чем мы еще не признались друг другу. Я побаивался, что зашел слишком далеко, и под любым предлогом был готов пойти на попятный. Но нет, она попросила прощенья, и игра возобновилась. Чувствую, что долго не продержусь.

Чуть не поцеловал ее сегодня, когда мы остались вдвоем в комнате. Мне стоило больших усилий не обнять ее, такая она была взбудораженная и так заражала меня. Только сжал ее руку выше локтя и прикоснулся к ней губами. Большего себе не позволил. Я боюсь самого себя. (Прим.: Майтрейи не испытывала того, что я думал. Ее просто беспокоило мое состояние. Она была расположена к игре, это я далеко зашел.) *Майтрейи — редкая девушка, но в женах не будет ли она такой же посредственностью, как любая другая?*

Ближе к вечеру она пришла ко мне в дивном пунцовом покрывале, которое только условно прикрывает убийственно смуглые груди. Знаю, что она надела этот непристойный и обольстительный наряд для меня; инженера нет дома, иначе она бы не посмела. (Прим.: На самом деле это был просто раджпутский костюм, который надевают на голое тело, а не на кофточку, как в Бенгале.)

Майтрейи приходит ко мне без всякого предлога и все время меня провоцирует. Страсть ей к лицу. Плоть такая зовущая, сверх всякой меры. Я нарочно твержу себе, что она толстая, страшная, что я не выношу индийского амбре, и таким образом еще могу сдержаться. Занимаюсь, так сказать, „медитацией по контрасту“. На самом деле это бесполезная трата нервов, и я ничего, ничего не понимаю. Что со мной будет?

С утра — ссора. Опять по пустяку. Майтрейи грозится не разговаривать со мной неделю. А я сказал наконец, что пусть, переживу, и от этого сам успокоился и смог поработать. Лилу пришла как миротворец, с вестью, что „поэтесса совсем убита“. Я сказал, что я тут ни при чем и что если Майтрейи так нравятся ссоры… Как банальны женщины! Та же песня у всех, в Европе и в Азии, у глупых и умных, у развратных и невинных…

Вечером — один в кино, с полным удовольствием. За ужином Майтрейи села рядом со мной в потрясающем старинном сари. Заплаканная, молчаливая, чуть притронулась к еде. „Мама“ все поняла. Расцвела, когда я перекинулся с ее дочерью словом. После ужина — короткое „объяснение“. Майтрейи говорит, что я не так ее понял, что она вовсе не пренебрегает любовью и симпатией…

Поединок длился четверть часа. Я сжимал ее запястья. Она очаровательно вырывалась — в этом состоял поединок — ив слезах молилась Тагору. Я был спокоен и хладнокровно испытывал ее, подвергая боли и унижению.

Наконец она была вынуждена признать себя побежденной. Радость, смешанная с горечью: она счастлива, что я — ее победитель, но расстроена, что ее духовный учитель, гуру, не помог ей. И т. д.

Когда мы пошли к ней в комнату, она шепнула:

— Ты сломал мне руки!

Я, не долго думая, взял ее руки в свои и, погладив, поцеловал. В Индии это недопустимо. Узнай кто, ее бы могли казнить. (Прим.: Я преувеличивал.)

После обеда она без слов бросила мне в комнату цветок…

Кинематограф с Майтрейи и другими. Она, конечно, сидела со мной. Когда погасили свет, сказала, что у нее ко мне серьезный разговор. Я отрезал, что сыт по горло этими „сантиментами“, что я их презираю (вранье!). Она потеряла свое величественное спокойствие (Клеопатра?) и распустила нюни. Это меня не тронуло.

Когда мы выходили, она опять было начала всхлипывать. Я сказал только: „Майтрейи!“ — и смолк. В тот вечер она еще раз расплакалась, у меня в комнате, прикрыв лицо покрывалом и без всяких объяснений. Но нашла в себе силы улыбнуться, когда пришли другие.

Опять „выяснение отношений“ с Майтрейи. Сегодня она держалась получше. Плакала только один раз. Зато я разнервничался, стал говорить, что придется уехать. Финал кошмарный, я попросил ее уйти из моей комнаты, бросился на постель, изображая приступ неизвестно чего. Я был смешон. Пообещал Майтрейи, что мы снова „станем друзьями“. Какой болван! Зашел со своей идиотской тактикой в такие дебри вранья и „признаний“, что выглядел пошляк пошляком, докатился до „сцен“ и пр., и пр., а она сохраняла завидное спокойствие. Сказала, что и ее часть вины есть в наших сентиментальных „шутках“. Но с этим должно быть покончено, будем снова друзьями.

Ночь.

Ох! Но все не так просто. Я люблю ее, очень и очень, — и боюсь. Она сказала, что мучается оттого, что причинила мне зло.

Мне страшно, но и весело тоже. Душа не иссохла от всех этих новых и нерешенных проблем. Я могу еще быть влюбленным со всей страстью, и притом без сентиментальности. Но далась же мне, в самом деле, эта сентиментальность, не все ли равно?

Я влип? Доигрался? Сегодня с утра до позднего вечера я был „счастлив“, если можно этим стертым словом обозначить ни с чем не сравнимый наплыв мажора, жизненных сил, аппетита к жизни и игре. Я был готов сказать Майтрейи: „Хочешь быть моей?“ И сейчас готов. Какое счастье быть ее мужем! Очищенным от скверны, ясным…

После обеда разговор с Майтрейи о брачных узах. Я все время представляю себя ее мужем, главой семьи и образцом нравственности. Полная удовлетворенность, покой.

Вечером она говорит мне, что в отчаянии, потому что ей не написал Тагор. Он для нее больше чем гуру, он ей друг, поверенный ее тайн, жених, Бог, может быть, даже возлюбленный. Она признается мне, что никто не подозревает об их связи. Любовь по-индийски! Я ревную? Решил сказать ей, что в нашем браке нет смысла, раз ей так дорог другой. Но, наверное, она и сама все понимает. (Прим.: Ничего она не понимала.) *Она заметила, что я надулся и встал в позу. После ужина мы не разговаривали. Прислала мне с Кхокхой записочку, что я ее обижаю. Я не ответил.*

Вся эта история то раздражает меня, то развлекает. Влюблен по уши, в голове все время картинки нашей семейной жизни, дети. Теряю массу времени. Очень трудно сосредоточиться. Но от любви не откажусь.

Ночью было землетрясение, хотя меня трясло и без этого. Утром, когда встретил Майтрейи, подарил ей одну ценную книгу.

Сегодня между нами — такие бури, что мне трудно их описать. В двух словах. Майтрейи набросилась на меня с упреками: чего я добиваюсь, моя несдержанность ее компрометирует. Манту и Кхокха уже догадываются и пр. И это все сквозь рыдания. Я не проронил ни слова. Сидел мрачный. Снова поза. В это время на веранде, рядом с моей комнатой, был Кхокха и все слышал. Когда мы его заметили, Майтрейи заплакала еще отчаянней. Написала на краешке листа, что хочет умереть. Для индианки это бесчестье — что Кхокха теперь про нас знает.

Но все же, успокоившись, она прибралась у меня в комнате и поправила букет на столе. Я молчал.

Сегодня, когда я живописал ей распущенность девушек в Европе, она спросила, чист ли я сам, и одной только мысли, что вдруг это не так, было довольно, чтобы она расплакалась. Меня трогает эта яростная, мистическая жажда чистоты.

К вечеру — снова матримониальные разговоры. Майтрейи рассказала, что ее сватают за одного бенгальца, с которым она,

конечно, не будет счастлива. Я посетовал, что родился белым (сам себе не очень веря), — дескать, будь я индийцем, у меня было бы больше шансов и пр. Она остолбенела, и тогда я поставил вопрос ребром: почему мы не можем пожениться? Допускает ли она идею нашего союза? Она, все еще остолбенелая, оглянулась — не слышал ли кто меня. Потом стала говорить, что все решает судьба или Бог (я ее перебил: не путает ли она Бога с предрассудками, а она ответила, что Бог свои желания выражает через предрассудки), что, может быть, моя любовь — это только мимолетная иллюзия и т. д. Факт то, что эта любовь, которую я поначалу считал ненастоящей, неважной, надуманной, натолкнувшись на отношение ко мне Майтрейи, в чьих чувствах я нисколько не сомневался (тогда как их вовсе не было, ни ко мне, ни к кому), — эта любовь меня совершенно захватила и несет; ощущение счастья, какого-то роскошного счастья живет на дне души, на краю всякой мысли. Не знаю, как это описать. Серьезно думаю о браке…

*** * ***

С того дня я почти ее не видел. Только иногда слышал сверху ее пение. Я послал ей несколько невинных записочек с Лилу, она не ответила. Чего я только не передумал в первую ночь, потом мысли пошли на спад, потом иссякли вовсе. Я увидел, что могу прожить и без Майтрейи».

VIII

Однажды я встретил на улице Гарольда. Он, как мне показалось, держался холоднее, чем обычно.

— Это правда, что ты женишься на инженеровой дочке? — спросил он среди прочего.

Я покраснел и попытался отшутиться, как всегда, когда попадаю в затруднительное положение, особенно если приходится защищать кого-то мне дорогого. Гарольд пропустил мои шуточки мимо ушей и сказал, что он это узнал в офисе, куда заглянул как-то, чтобы пригласить меня на пикник. Еще он узнал, тогда же, что я собираюсь перейти в индуизм. Он и сам, конечно, грешник и ходит в церковь только из-за своей Айрис, но эта новость его убила. Инженер Сен — настоящий монстр, сказал он мне, они меня приворожили, и мне следует пожертвовать пять рупий «Sisters of the poor»[18], чтобы те за меня помолились.

— А как девочки? — перебил его я.

— Они тебя оплакали, — сообщил он и, помолчав, добавил: — Не знаю, конечно, может, это здорово выгодно — жить в Бхованипоре. Экономишь на квартире, на обедах и в город не показываешься… Что ты хоть делаешь целыми днями?

— Учу бенгальский, к экзамену на provincial manager, — соврал я. — И потом, столько впечатлений, даже не замечаешь, как летит время…

Он попросил взаймы пять рупий, на бал в ИМКА.

— Не соблазнишься? — сказал он напоследок.

Но я не испытывал никакого соблазна. Без всякого сожаления подумал я о годах, проведенных в пансионе «Райпон» на Уэллсли-стрит, о растранжиренных годах жизни. Я смотрел на Гарольда, и никаких приятных воспоминаний не навевали на меня его атлетическая фигура и загорелое лицо с красивыми, обведенными синевой глазами. Чужой человек, а ведь когда-то он был мне товарищ по ночным попойкам с веселыми девушками. Жизнь, к которой я перешел, казалась мне чем-то таким святым, что я не посмел прикоснуться к ней словом. Гарольд пообещал как-нибудь навестить

меня и тщательно записал адрес (с тем, вероятно, чтобы одолжить сумму покрупнее).

Дома я застал все общество в столовой за чаем. Там были и Манту с женой, и Кхокха с двумя сестрами (те самые женщины-тени, которых никогда не видно, не слышно). Я вполне откровенно рассказал им о встрече с Гарольдом и о той мерзкой жизни, какую ведут здесь европейцы и евразийцы и какую я сам вёл столько времени. Мои признания пришлись ко двору. Женщины смотрели на меня блестящими глазами и хвалили на своем малопонятном арго, а Манту — как только он умеет — пожал мне руки, прикрыв глаза. Один инженер, заметив, что я преувеличиваю, ушел читать свой неизменный детектив.

Вместе с Майтрейи, Кхокхой и Лилу мы поднялись на террасу. Расположились на коврах, с подушкой под головой и стали ждать вечера, лениво переговариваясь и ища позу поудобнее. Я был занят тем, что старался, как бы невзначай и попристойнее, устроить ноги в сандалиях на балюстраде. За эти месяцы я усвоил весь связанный с ногами церемониал. Например, я знал, что, если нечаянно толкнешь кого-нибудь, надо наклониться и коснуться его ног правой рукой; что никогда нельзя, даже в шутку, изображать пинок. И все такое прочее. Поэтому я и колебался, прежде чем задрать ноги на балюстраду. И тут Лилу сказала что-то на ухо Майтрейи.

— Она говорит, что у тебя очень красивые ноги, белые, как из алебастра, — передала мне Майтрейи, не в силах скрыть какую-то странную зависть и досаду.

Я покраснел — и от удовольствия (будучи некрасивым, я всегда таял от похвалы моей внешности), и от смущения, потому что не знал, как толковать взгляд Майтрейи: она смотрела на мои ноги чуть ли не с обидой. Чтобы нарушить молчание, я стал городить всякую чепуху — что, дескать, подумаешь, ноги, кто их видит, по крайней мере у нас, у белых.

— А у нас все по-другому, — перебила меня Майтрейи, несколько умасленная. — У нас, если ты хочешь показать другу свою любовь, то касаешься его босой ногой. Например, когда я говорю с подругами, мы делаем так. Смотри…

Она, зардевшись, высвободила ногу из-под сари и подвинула ее к Лилу. И тут произошло нечто неописуемое. У меня было впечатление,

что я присутствую при самой интимной любовной сцене. Лилу стиснула между лодыжек ногу Майтрейи, трепеща и улыбаясь, как от поцелуя. Это были настоящие ласки: медленное скольжение изогнутых стоп вверх и потом пожатие ими теплой, подрагивающей голени. Я испытывал муки ревности и одновременно чувство протеста против этого абсурдного замыкания на себе женской плоти. Вдруг Майтрейи резко высвободилась и тронула своей ногой ногу Кхокхи. Я еле удержался, чтобы не убежать, видя, как черная лапа мальчишки, заскорузлая от зноя и уличной грязи, принимает, словно жертвоприношение, эту нежную близость. Кхокха скалился, как собака, когда ее гладят, а я жалел, что не вижу глаз Майтрейи — есть ли в них то сладострастие, какое выдавала ее голень при этих ласках.

Я подумал тогда, что смех Майтрейи, который вызывал этот уродец, этот клоун, обозначал тот же акт отдавания-обладания. Позже я вообще стал думать, не существует ли других способов обладания, более изысканных и неявных, чем общепринятые, обладания тайного — через слово, шутку, прикосновение, — когда женщина вся отдается чьей-то телесности или духу и ее берут всю — так, как мы никогда не сможем ее взять, даже в самые недвусмысленные и бурные минуты любви. Еще долго после того я ревновал не к прекрасным молодым людям, поэтам и музыкантам, собиравшимся в доме Сена, с которыми Майтрейи говорила, на которых глядела, которым улыбалась и книги которых любила, а к Манту и Кхокхе, особенно к первому, потому что он, доводясь ей дядей, мог себе позволить пожать в разговоре ее руку, или похлопать по плечу, или потрепать по голове. Эти жесты невинного обладания мучили меня больше, чем любое реальное соперничество. Мне казалось, что Майтрейи не сознает насилия, украдкой совершаемого над нею чужой плотью или чужим духом. Но особенную муку, если уж говорить все, причиняли мне акты духовного обладания: то это был молодой поэт, Ачинтия, которого Майтрейи видела всего раз и с которым говорила только по телефону, когда посылала стихи в «Прабуддха Бхарата»[19]; то один математик, который приходил очень редко и о котором Майтрейи рассказывала мне с энтузиазмом, признаваясь, что ей нравятся высокие мужчины; то — самое болезненное для меня — ее гуру Роби Тхакур. Я очень осторожно пытался намекнуть ей, что нельзя так втягиваться в отношения, но она смотрела на меня с таким искренним,

простодушным изумлением, что я махнул рукой. Впрочем, это все происходило уже тогда, когда я получил достаточно доказательств, что мне нечего бояться соперников.

…Я остался лежать, с каким-то гадким чувством, кусая губы и глядя на первые звезды еще бледного неба. Разговор продолжался на бенгальском, очень беглый, так что я почти ничего не понимал. Да и не пытался понять и только вздрагивал, когда Майтрейи заходилась от смеха на бесконечные каламбуры и кривлянья Кхокхи. Вероятно, она заметила мое настроение, потому что спросила по-английски, не скучно ли мне и не хотел бы я для разнообразия в свободное время помогать ей составлять каталог отцовской библиотеки. Это неплохое переключение после конторы, сказала она, а заодно мы могли бы общаться (в самом деле, последние дни я почти не видел Майтрейи). Про идею каталога я ничего не знал — оказалось, что господин Сен, собрав около четырех тысяч томов (часть он получил в наследство), решил напечатать отдельной брошюрой, в роскошном издании, каталог библиотеки, чтобы после его смерти она перешла в дар местному колледжу. Все это показалось мне смешным, но я согласился.

— Отец не решался тебя попросить, — добавила Майтрейи, — ты ведь человек занятой. А я у них маленькая, у меня нет никаких дел, к тому же я люблю рыться в книгах.

Оставшись один, я, помню, проклинал себя за то, что так бездумно принял предложение, которое должно было и вправду отнять все мое свободное время. Сколько я понял, нам предстояло переписать все книги на карточки, с номером соответствующей полки, потом расположить их в алфавитном порядке и снова переписать, уже списком, чтобы отдать печатать. Не очень вдохновляющее занятие. К тому же я боялся, что наши игры могут возобновиться — и это тогда, когда я, казалось, уже взялся за ум.

* * *

Майтрейи я встретил на другой день, перед вечерним чаем, на пороге библиотеки.

— Пойдем, я тебе покажу, как это делается, — позвала она. Она разложила на столе ряд с полсотни томов.

— Ты начинай с того края, а я — с этого. Посмотрим, на какой книге встретимся. Хочешь?

Она казалась взволнованной, губы подрагивали, глаза смотрели на меня, часто моргая, как будто отгоняя какой-то навязчивый образ.

Я сел к столу со странным предчувствием, спрашивая себя, чего я жду: не любви ли Майтрейи, не тайного ли признания? — и не ощущал трепета перед возможными событиями. Я писал карточки и пытал себя: я еще люблю ее? Нет, это не любовь. Чем же тогда так притягивает меня Майтрейи, думал я в сотый раз, — своей иррациональностью, своей первобытной невинностью и тем, что называется «чары»? Одно было для меня очевидно: я приворожен, а не влюблен. Причем это открывалось мне не в часы ясного сознания, сколько их еще выпадало на мою долю, а в канун решающих событий, в единственно реальные минуты, когда я начинал жить. Рефлексии никогда ничего мне не давали.

Я потянулся к очередному тому и вздрогнул, наткнувшись на руку Майтрейи.

— На чем мы встретились? — спросила она.

Это оказались «Истории с неожиданностями» Уэллса. Она вспыхнула — от радости ли, от смущения ли, не знаю, — и сказала, понизив голос:

— Видишь, что у нас впереди: неожиданности.

Я улыбнулся ей, тоже слегка взволнованный совпадением, хотя большинство книг были с многозначительными названиями: «Сон», «Возьми меня с собой», «На помощь!», «Что нового?» и т. д. и т. п. Пока я подыскивал, что бы такое сказать в ответ, нас позвали к столу, и мы пошли, с каким-то сладким чувством заговорщиков, то и дело поглядывая друг на друга. За чаем я разговорился, делясь своими книжными впечатлениями — в последнее время я читал о Кришне и о винщуитском культе, — и так увлекся, пересказывая сцены из жизни Чайтаньи, что госпожа Сен не смогла сдержать слез и, наклонясь ко мне, прошептала:

— Ты говоришь как настоящий вишнуит.

Я был польщен и признался, что считаю вишнуизм одной из самых возвышенных религий, чем вызвал дискуссию о религиях вообще, в которой активнее всех участвовал наравне со мной Манту, а

Майтрейи только слушала, уставясь в пространство и не произнося ни слова.

— Что вы знаете о религии?! — вдруг взорвалась она, меняясь в лице и чуть не плача.

Я сконфузился: надо ли тут что-то объяснять или, может быть, начать извиняться? Манту потянулся было обнять ее за плечи, но она вырвалась и убежала в библиотеку. Мы, притихшие, допили чай в молчании, и я ушел к себе отвечать на письма, с непонятной тревогой и тяжестью на душе. Но стоило мне написать первые строки, как я почувствовал, что должен тотчас же увидеть Майтрейи, и спустился в библиотеку.

Этот день занимает, может быть, центральное место в моей истории. Переписываю из дневника:

Я нашел ее в состоянии подавленном, на грани слез. Сказал, что пришел, потому что она позвала, она посмотрела удивленно, молча. Потом мы минут на пять расстались — я ушел дописать письмо. А когда вернулся, она дремала на диване у стола.

Я разбудил ее. Она вздрогнула, широко открыла глаза. Я стал смотреть в них не отрываясь, она впивала мой взгляд, время от времени спрашивая только: «Что? Что?» Потом мы были уже не в силах ничего говорить, а только сблизили лица, глаза в глаза, оба во власти сверхъестественной сладости флюидов, неспособные сопротивляться, стряхнуть морок, очнуться. Мне трудно описать эти ощущения: блаженство, тихое и в то же время мощное, против которого душа не хотела держать оборону, разнеженность, превосходящая чувственную, сродни, наверное, счастью небожителей, божественной благодати. Сначала это состояние держалось только на взглядах, потом мы встретились руками, все так же не отрывая глаз друг от друга. Благоговейные касания, ласки неискушенных. (Прим.: Я только что прочел о мистической любви Чайтаньи и потому описывал свои переживания в мистических терминах.) *Потом, совершенно естественно, — целование рук. Она смотрела потерянно, и в том, как она кусала губы, было столько страсти (но притом и целомудрия), что я мог бы поцеловать ее и по-настоящему, я мог бы все, и мне стоило большого труда сдержаться. Ситуация была рискованная. Кто угодно мог войти в библиотеку. От*

Майтрейи исходили мистические эманации. (Прим.: Под влиянием вишнуитских книг здесь и далее мой дневник изобилует словом «мистика». Вот и эта сцена от начала до конца трактуется как «мистический опыт». Теперь мне это смешно.) *Я снова спросил ее, почему мы, я и она, не можем быть вместе. Ее забила дрожь. Чтобы испытать нас, я попросил ее два раза прочесть мантру против искушения, которой ее научил Тагор. Она прочла, но чары не рассеялись. Так мы убедились — я тоже в это верю, — что наш опыт не имеет сексуальных корней, а есть любовь, хотя и выраженная в телесном откровении. Я почувствовал и испытал на себе это чудо: контакт со сверхъестественным через прикосновение, через глаза, через плоть. Опыт длился два часа, изнурив нас Возобновить его мы можем в любую минуту, для этого надо только скрестить глаза.*

Она попросила меня сбросить сандалии и коснуться ногой ее ноги. Что за чувство! Я был вознагражден за все пытки ревности. Я знал наверное, что, соприкасаясь со мной лодыжкой и голенью, Майтрейи отдается мне вся, так, как не отдавалась никому никогда. Сцена на террасе забылась. Чтобы обмануть в такой близости, надо лгать божественно, думал я. Против воли я придвинул колено к ее колену — оно мерещилось мне, как в галлюцинации, шоколадное и нетронутое, не запятнанное до сих пор ни единым человеческим прикосновением. За эти два часа ласк (а чем же еще были касания наших ног?), о которых дневник говорит так бегло, суммарно, так стерто, что еще долго после того я сомневался, стоит ли дальше записывать этапы наших отношений, я пережил больше, я глубже понял Майтрейи, чем за шесть месяцев усилий, приятельства, первых движений любви. Никогда я не знал вернее, что я обладаю и что обладание это безраздельно.

До тех пор я не признавался ей в любви. Это подразумевалось само собой. Каждый ее жест я давно уже толковал в определенном смысле. Ее любовь была, по моему убеждению, бесспорной, и я думал, что во мне она столь же уверена. Потому-то меня так огорчало и тревожило ее молчаливое сопротивление (паника в глазах, спрятанное в ладонях лицо) всякий раз, как я заговаривал о том, чтобы нам связать свои жизни. Я ничего не понимал: мне казалось, все к тому идет и ее родители нас всячески поощряют.

И вот я сказал, что люблю ее. Она заслонила глаза рукой и не ответила. Не зная, как отозвались мои слова, я склонился над ней и повторил, со всей доступной мне нежностью, те несколько слов любви, которые знал по-бенгальски.

— Оставь меня, — вдруг сказала она, пытаясь подняться. Голос ее был чужим, далеким. — Я вижу, ты не понял моей любви. Я люблю тебя как друга, очень дорогого друга. Иначе не могу и не хочу иначе…

— Но так не дружат, так любят, — весело возразил я с внезапно вернувшейся ясностью сознания.

— Душа умеет любить по-разному, — заметила она, взглядывая на меня.

— Ноты меня любишь по-настоящему, зачем отпираться, — настаивал я. — Хватит мучить друг друга, я не могу без тебя, а ты — без меня. Ты дорога мне, Майтрейи, любимая…

Я говорил, мешая языки: фразу по-бенгальски, пять — по-английски.

— Скажи мне это и на своем языке, — попросила она.

Я сказал все, что пришло на ум. Уже давно стемнело, везде зажглись лампы. Я тоже пошел было включить свет.

— Не надо, — остановила меня Майтрейи.

— А если кто-нибудь войдет и застанет нас в темноте?

— Ну и что? Мы же тут брат и сестра…

Я предпочел пропустить мимо ушей ее слова, вернулся и снова взял ее за руки.

— Почему ты не хочешь слышать некоторые слова? — спросила она, и по ее голосу я понял, что она вот-вот рассмеется.

— Потому что ты говоришь глупости, — ответил я, совершенно уверенный в себе и в любви Майтрейи.

И тогда произошло неожиданное. Майтрейи расплакалась и вскочила, порываясь бежать. Я крепко охватил ее кольцом рук, погрузил лицо в ее волосы и зашептал что-то, пытаясь успокоить, отвлечь, прося простить меня. Но, не в силах противиться аромату, теплу, пленительности этого тела, еще никем не тронутого, я поцеловал Майтрейи. Она забилась и закричала, защищая губы. На крик могли прибежать, и я разжал объятия. Она метнулась прочь со стоном, уязвившим меня. Но не к дверям, а к окну. Там, при свете уличного фонаря, я увидел ее лицо и испугался: отчаянные,

заплаканные глаза, искусанные губы. Из-под рассыпавшихся волос она смотрела на меня как на злого духа или как на сумасшедшего, показывая пальцем место на щеке, куда я угодил своим поцелуем. Говорить она не могла и не могла защищаться. Я приблизился, обнял ее и снова поцеловал, обезумев от непонимания, от слепой страсти. Поцеловал в губы, они оказались влажные, свежие и душистые, ни в каких мечтах я не мог представить себе такие. В первую секунду она напряглась, пытаясь отвернуться, но сил у нее не было, и губы сами раскрылись, позволяя целовать, кусать, впивать себя. Я чувствовал ее грудь, я чувствовал всю ее, без оглядки прильнувшую к моему телу, и у меня даже чуть защемило сердце, что она отдалась мне так скоро. Не знаю, сколько длилось это первое слияние. Она стала задыхаться и, когда я оторвался от ее губ, вдруг рухнула к моим ногам. Я решил, что это обморок, и, помертвев, нагнулся поднять ее, но она обняла мои ноги и, плача, взмолилась, чтобы я больше не трогал ее, она заклинала меня именем моего Господа, именем моей матери, именем госпожи Сен. Я содрогнулся и не нашел, что ответить. Я дал ей самой подняться. Она на ходу отерла слезы, поправила волосы и, выходя, оглянулась на меня, но лица ее я не видел — тусклый свет фонаря не доставал до двери.

Взбудораженный, я вернулся к себе с целым роем ощущений, с мучительной радостью, что она моя, с гордостью, с угрызениями совести, с неясным страхом. До ужина не мог ничего делать и только гадал, хватит ли мне смелости глядеть на нее за столом. Меня очень беспокоило, что она думает обо мне и не признается ли во всем госпоже Сен или Лилу. Я ничего не понимал и не мог сосредоточиться. К ужину она не вышла, но сразу после Лилу украдкой протянула мне записочку.

— От нашей поэтессы.

Не дыша, развернул я записку. Чтобы никто не понял, она написала по-французски: *«Vous venir matin six heures en bibliothique»*[20].

IX

В офис я шел к десяти утра, а чай пил вместе со всеми в восемь. Значит, на разговор у нас оставалось целых два часа. С вечера я никак не мог заснуть и всю ночь промаялся в кошмарах: мне снилось, что я теряю Майтрейи, что бледнолицый ангел гонит меня из их дома, а Сен невозмутимо смотрит на это с террасы. Я то и дело просыпался в ознобе, в холодном поту. Как будто на мне лежал тяжкий грех.

В шесть утра Майтрейи в белом сари и серебристом покрывале на плечах уже писала карточки в библиотеке. Я поздоровался с ней в крайнем смущении, не зная, следует ли мне ее поцеловать или ограничиться улыбкой и вести себя так, словно между нами ничего не произошло. Наутро после решающего свидания мне обычно приходится напрягать воображение. Я никогда не знаю, что думает обо мне моя девушка, чего от меня ждет и какой тон взять. А посему каждое движение дается мне с трудом, я начинаю что-то бормотать, извиняться, в общем, выгляжу болван болваном.

Зато Майтрейи встретила меня с видом спокойным, примиренным, решительным, хотя круги под глазами и бледность выдавали ночь, проведенную за молитвой и медитацией (мне показалось или я слышал на самом деле под утро ее голос, монотонно поющий на балконе молитву? Он то прерывался, то начинался снова, пока не стих, словно захлебнувшись в слезах).

Я сел за стол напротив нее и, не поднимая глаз, тоже стал механически переносить на карточки названия книг.

— Ты хорошо спала? — не выдержал я наконец и прервал молчание.

— Совсем не спала, — ответила она твердо. — Я думаю, что тебе надо переехать от нас. Поэтому я тебя и вызвала.

Я хотел было что-то возразить, но Майтрейи остановила меня заклинающим жестом, и я стал слушать ее, не перебивая, со всевозрастающим изумлением. Она говорила, водя пером по листу бумаги, не глядя на меня, что-то рисуя и зачеркивая, набрасывая слова, которые я не мог разобрать, чертя знаки и фигуры, которых я не понимал. Эта игра напомнила мне начало наших отношений, первые

уроки французского, и я чуть не вклинился с замечанием, сколько ошибок она налепила во вчерашней записочке, но вовремя опомнился и прикусил язык, юмор был бы сейчас бестактен. Впрочем, и на серьезных размышлениях я не мог сосредоточиться: Майтрейи сообщала мне такие вещи, что я терялся. Самолюбие мое было оскорблено, уверенность — поколеблена. Никогда Майтрейи не разражалась при мне таким длинным монологом, не меняя темы, не нуждаясь в ответе. Она говорила как будто в пустой комнате. Меня там не было.

Оказывается, я ошибался, полагая, что она любит меня так же, как люблю ее я. Ее душа давно отдана другому, Роби Тхакуру. Она любит его с тринадцати лет, и ему она читала первые свои литературные опыты. До прошлого года они всей семьей каждое лето гостили у поэта в Шантиникетане, у него там дом. Сколько вечеров на террасе провела Майтрейи у ног старца, внимая ему! Вначале она не знала, что это за чувство, которое превращает жизнь в дивный сон без пробуждения и не дает от него очнуться, она думала, что это почтение и дочерняя привязанность к гуру. Пока однажды вечером поэт не сказал ей, что это любовь. Тогда, на террасе, она потеряла сознание. Очнулась спустя какое-то время у него в комнате, на кровати, со смоченным водой лицом. В воздухе пахло жасмином. Гуру гладил ее по голове, потом дал ей ту мантру, которая защищает от грехопадения. Пусть она останется чистой на всю жизнь, так он сказал. Пусть пишет стихи, любит и мечтает и пусть никогда не забывает о нем. И она не забыла. У нее целая шкатулка его писем. Когда он путешествует, он пишет ей отовсюду. Шкатулка из ароматного дерева, он ей сам подарил, два года назад, вместе с прядью своих волос…

«Гнусный комедиант, — исходил я ревностью, бешенством и бессилием. — Растлитель, мистика с мясом, благочестие с мелкими пакостями напополам! А я-то думал, что она чиста! Что я — первый, кто к ней притронулся!»

Но он ее ни разу не поцеловал и гладил только по волосам, добавила Майтрейи, как бы угадав мои мысли. Впрочем, она очень давно его не видела, он все время путешествует, и потом (о, эта легкая заминка!), госпожа Сен, кажется, заметила некоторую преувеличенность ее чувств к гуру и больше не разрешила им видеться. Но она, Майтрейи, не забывала о нем ни на миг. Она хотела,

чтобы мы стали добрыми друзьями, тогда бы она разделила со мной все эти чувства и мы бы вместе любили его. Она всегда была мне другом, любила меня по-дружески, ни о какой иной любви не помышляя, и наши игры должны были остаться играми, без объятий и поцелуев (последние слова она скомкала от смущения, наделав в них ошибок, и повторила фразу по-бенгальски). Ее отношение ко мне — самое искреннее и теплое, она очень меня любит, ей нравится сидеть со мной, шутить, глядеть мне в глаза, но это все нормально для дружбы. Если я думал по-другому, это ее вина — она столько от меня скрыла и ввела таким образом в заблуждение.

Когда она смолкла в изнеможении, я поднялся и, обогнув стол, подошел к ней, как сомнамбула, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Она смотрела на меня с ужасом и жалостью, я взял ее лицо в ладони и, не дав опомниться, припал к ее губам. Мы оба знали, что в любой момент кто-нибудь может заглянуть к нам, спускаясь по лестнице, но от этого я только длил свой поцелуй, пока она не стала задыхаться.

— Зачем ты это делаешь? — проговорила она. — Я слабая, ты знаешь, что я не могу сопротивляться, но я ничего не чувствую, когда ты меня целуешь. С таким же успехом меня могла бы поцеловать Чабу, ребенок. Я спокойна. Я не люблю тебя.

Выпустив ее, я повернулся и ушел к себе, клокоча от ревности и возмущения. На работу отправился, не дожидаясь чая. Признание Майтрейи внесло ясность в положение, хотя мне казалось, что все ее поступки направлены против естества.

В тот день я больше не искал встреч с Майтрейи. Однако вечером, за столом, она, как всегда, села справа от меня. Кроме нас, ужинали только Манту и Лилу. Я завел разговор о политике: арест мэра города, речь Сарожини Найду, число брошенных в тюрьмы за время беспорядков… Я пообещал себе не смотреть на Майтрейи и избегать даже случайных прикосновений. Вдруг ее теплая босая нога, дрогнув, коснулась моей под столом. Я осекся, выдав свое волнение. Майтрейи незаметно отвернула край сари, и я мог тереться своей голенью о ее, даже не пытаясь противиться волнам тепла и пронзительного блаженства. Я видел бледность ее лица, на котором алели губы, испуг в глубине глаз, и меня так безудержно тянуло к ее плоти, что пришлось больно вонзить ногти в ладони, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя.

Может быть, наши сотрапезники и заметили что-то неладное, тем не менее с тех пор тайные встречи ног под столом стали нашей каждодневной радостью. Только так я мог ласкать Майтрейи. Коснись я ее рукой, она сочла бы это актом пошлого сластолюбия и мгновенно усомнилась бы в чистоте моих помыслов.

После ужина Майтрейи задержала меня у дверей столовой.

— Хочешь посмотреть, сколько я сегодня наработала?

Она зажгла свет в библиотеке, но, вместо того чтобы подойти к столу с карточками, прошла в смежную комнату, где не было света. Оглянувшись на пороге, не видит ли кто, она протянула мне обнаженную до плеча руку.

— Пожалуйста, делай с ней что хочешь — целуй, гладь — увидишь, я ничего не почувствую.

Как-то раз, еще давно, мы рассуждали о чувственности, и я сказал, что истинно любящий может испытывать чувственное наслаждение даже при незначительном телесном контакте. Тогда же я развивал перед Майтрейи мысль, что для меня обладание — дело крайне сложное и темное. Очень трудно, говорил я, обладать чем-то без обмана, заполучить, завоевать что-то по-настоящему. По большей части мы только думаем, что обладаем.

Эти банальности, которые я мимоходом внушал Майтрейи, в уверенности, что другого, более серьезного, ей не воспринять, все же произвели на нее впечатление. И вот теперь она решила проверить свои чувства, спровоцировав ту ситуацию минимального контакта, о которой я говорил.

Я послушно взял протянутую мне руку — не как руку женщины, а как некий теплый живой предмет, сквозь смуглую и матовую оболочку которого просвечивала сама страсть и одновременно — сама воля к победе. Рука жила сама по себе, не принадлежа больше той, что возложила ее на горящие угли, дабы испытать свою любовь. Я держал эту руку в своих, как сокровище, ошеломленный трепетом ее жизни и необыкновенностью того, что должно было наступить. Я начал гладить, и сжимать, и целовать ее с четким ощущением, что вся Майтрейи сейчас в моих объятиях, что всю ее я ласкаю, вся она вливается в меня радостью. Я чувствовал, как она поддается моему натиску, как уступает, содрогаясь, я чувствовал муки ее нового рождения, успевая среди поцелуев заметить, как все больше бледнеет

ее лицо, полыхают глаза, слабеет воля. Через эту данную мне руку моя любовь взывала ко всему ее существу. Скольжение моих пальцев к ее плечу звало ее, всю. И она дрогнула и стала клониться ко мне, все ближе и ближе и наконец, обвив другой рукой мою шею, притянула меня к себе со слезами на глазах, чуть дыша. Через мгновенье она была в моих объятиях (я никак не принуждал ее к этому, твердо решив ограничиться только дозволенной рукой), и, найдя ее губы, я понял, что на этот раз не совершаю насилия: они сами раскрылись мне навстречу, впуская и захватывая меня, уже не было ни сопротивления, ни уступок — лишь полное совпадение желаний, биения крови. Какие бы бури ни волновали Майтрейи раньше, кто бы ни был у нее до меня, все следы этого сгорели, улетучились при свете нового дня, к которому она снова рождалась девственной. Так я чувствовал, и не испытанное никогда блаженство вошло в меня через все поры души и тела. Я ощущал полноту и непрерывность своего существа, огромный вал поднял меня из ничего, не отрывая при этом от корней, не сбивая с пути. Я никогда не жил так мощно и неопосредованно, так вне времени, как в эти минуты. Соитие наших губ было больше чем просто любовь.

Майтрейи первая стала приходить в себя, прикрыла глаза тылом ладони, тихо отстранилась, взглянула, снова заслонив глаза. Потом двинулась к столу с книгами, машинально говоря:

— Вот сколько я сегодня наработала…

Ею двигало внутреннее чутье: в ту же секунду вошел Кхокха и передал, что госпожа Сен зовет дочь наверх, к себе в комнату. Я погасил свет, пытаясь сдержать свою шальную радость — меня так и подмывало признаться Кхокхе, какое незаслуженное счастье мне выпало.

В своей комнате я не находил себе места. Выглядывал в забранное жалюзи окно, плюхался на постель, вскакивал и начинал шагать взад и вперед по ковру. Мне безумно хотелось еще раз увидеть Майтрейи и заснуть с этим видением, в поцелуе, не прерванном приходом Кхокхи. Мне казалось, что мы расстались не так, как следовало в первый день близости. Мы должны были проститься объятием, а этому помешали. Уверен, что и Майтрейи разделяла мои мысли, потому что я слышал ее легкие шаги наверху, то на балконе, то снова в комнате. На стену дома напротив падала тень, когда она подходила к окну. Но вдруг свет погас,

и я в досаде застыл у жалюзи. Тогда раздалось легкое насвистывание, в котором можно было угадать мелодию, но я угадал иное. Я посвистел тоже, мне не ответили. Она должна быть на балконе, подумал я и, осторожно открыв дверь своей комнаты, а потом другую, из коридора, вышел на веранду. Спуститься вниз, на улицу, в круг фонарного света, не решился. Снова посвистел.

— Аллан! Аллан! — услышал я с балкона.

Первый раз она звала меня по имени. Тогда я сошел на улицу и увидел: опершись о перила балюстрады, она стояла в одном покрывале, наброшенном на плечи, черные струи волос мешались с гроздьями глицинии. Я смотрел на нее как на богиню из восточной сказки, возникшую в своей наготе среди цветов на балконе, в слабом свете уличного фонаря. Я молчал, не сводя с нее глаз. По тому, как расслабленно она опиралась о перила, как покорно склонила голову к плечу, я понял, что и у нее нет сил говорить. Мы только смотрели друг на друга. Потом она сняла что-то через голову и бросила мне, что-то белое плавно пролетело по воздуху — гирлянда из жасмина. В следующий миг Майтрейи уже не было, я даже не успел сказать слово благодарности.

Благостный и счастливый, вернулся я к себе в комнату, встретив в коридоре Кхокху.

— Пить захотелось, — сказал он мне, как бы оправдываясь, хотя я ни о чем не спрашивал.

Тогда я не задумался, зачем он кружит вокруг и не шпионит ли он за нами. Переполненный нежностью, я бережно нес жасминовую гирлянду, и мне было не до подозрений. Как я узнал позже, такую гирлянду девушка дарит юноше в знак обручения, обмен гирляндами равнозначен клятве, которая сильнее обстоятельств, сильнее смерти. Не зная еще этой символики, я целовал цветы жасмина только потому, что они были на груди Майтрейи и оттуда попали ко мне бесценным даром. Сидя на кровати, перебирая гирлянду, я вдруг вернулся к началу начал, к той минуте, когда увидел Майтрейи и она мне не понравилась, когда я подумал, что между нами не может быть ничего общего, — и понял, что на самом деле люблю ее с тех самых пор, хотя не разбирался в своих чувствах, не давал себе труда разобраться.

Это была ночь качелей между снами и воспоминаниями, с дразнящими, жасминовыми губами Майтрейи, первая ночь, когда мне

показалось, что я слышу журавлей Бенгала, их крик над затопленной равниной у залива. Я увидел тогда, через открытые в мир ворота счастья, легендарную жизнь в краю змей и тамтама и себя об руку с Майтрейи — странников, возлюбленных дороги.

На другой день я задержался на работе и опоздал к обеду. Майтрейи одна поджидала меня в столовой. Она принесла туда свои карточки и раскладывала их по алфавиту в специальном ящичке с отделениями. Когда я вошел, она мгновенно вскочила и принесла мне поесть, а сама села напротив и из-под опущенного на лоб покрывала стала смотреть на меня.

Это была каторга: я не знал, как начать разговор, боялся показаться вульгарным (потому что здорово проголодался и ел с аппетитом) и заставлял себя иногда отрываться от тарелки и бросать ей взгляд — дескать, я ее не забываю, она мне так же дорога, как и прошлую ночь.

— Ты думала обо мне сегодня? — Я наконец с натугой вспомнил, как положено ворковать влюбленным.

Она опустила веки, и я увидел две — не слезинки, скорее, блестки слез.

— Ты плачешь? — спросил я, пытаясь изобразить большее волнение, испытывал (но ведь я любил ее, Господи, я был от нее без ума! Почему же я не сопереживал ей? Почему мне хотелось есть, когда ее одолевали слезы?).

Она не ответила. Тогда я перегнулся через стол и погладил ее по голове, поцеловать не решился, не сделав перед тем глотка воды, не съев банана, словом, не переменив вкус во рту. (У меня были предрассудки белого человека: не говорить с полным ртом, вытирать губы, когда целуешь, и прочее, как будто это имеет какое-нибудь отношение к любви.)

— Аллан, я тебе кое-что принесла, — сказала она кротким звенящим голосом по-бенгальски, чтобы обратиться ко мне на «ты», бесстрастное английское «вы» ее всегда раздражало.

Она протянула мне подаренную Тагором шкатулку с прядью его волос.

— Вот, можешь сжечь, можешь что хочешь. Я больше не стану держать это у себя. Я его не любила. Это было помрачение ума, а не любовь, ведь он был моим гуру. И теперь…

Она смотрела на меня, не видя — ее взгляд проходил навылет и сливался с неким образом, созданным ею, может быть, тоже Алланом, но Алланом более полноценным, способным утолить ее жажду.

— Теперь я люблю только тебя. Все, что до тебя, — ненастоящее. Теперь я знаю, как это, теперь все по-другому.

Я потянулся обнять ее, однако на лестнице раздались шаги, и я только прикоснулся к ее руке. Шкатулку я вернул, мне казалось глупым мстить прядке седых волос. И потом, какое мне было дело до ее воспоминаний, до ее прошлого? В этот час я так неоспоримо чувствовал себя первым и единственным, что ничего не боялся. Ее прошлое пока не причиняло мне, мучений — мучения наступили после: всякий раз, как Майтрейи отдалялась от меня, уходя в те непроницаемые времена, когда я еще не появился в ее жизни, я подозревал, что она сравнивает меня с тем, другим.

Но она, кажется, истолковала мой жест превратно: как безразличие к ее жертве, к открытости передо мной.

— Ты не хочешь взять? — спросила она, словно не веря.

— К чему? Лучше ты сама сожги, — ответил я, как мог ласковее.

— Я? Для меня это больше не имеет цены, — с негодованием отказалась она.

Решив не спорить, я взял душистый завиток и, аккуратно упаковав его в салфетку, спрятал в карман жилета. Потом отправился во двор и с таким наслаждением насвистывал, обливаясь холодной водой, что проходившая мимо Лилу стукнула в жестяную стену кабинки со словами:

— Эй, тебе опять кошмары снились?

Эта шутка, понятная только мне, всплыла из того далекого, месячной давности, прошлого, когда я пытался объяснить свою меланхолию и тревожное состояние («проблема Майтрейи», как я называл это в дневнике) тем, что плохо сплю. Воспоминание о времени метаний и неопределенности усиливало радость и уверенность моего сегодня. Я пошел к себе, полный желания, с чувством триумфатора.

Не успел я толком одеться, как в комнату постучала Майтрейи. Войдя, она опустила за собой штору (закрыть дверь не решилась) и бросилась мне на грудь.

— Не могу без тебя.

Я поцеловал ее. Она вырвалась и отскочила к двери.

— Разве это не грех?

— В чем же тут грех? — успокоил я ее. — Ведь мы любим друг друга.

— Но мы любим без ведома мамы и отца, — напомнила она.

— Рано или поздно мы им признаемся.

Она посмотрела на меня как на сумасшедшего.

— Нельзя!

— Когда-нибудь придется, — повторил я. — Я попрошу тебя в жены. Скажу им, что мы любим друг друга, и господин Сен не сможет нам отказать. Ты знаешь, как он ко мне привязан, он же сам привел меня к вам в дом и велел подружиться с тобой…

Я не стал продолжать, потому что Майтрейи всем своим видом выражала непонятное мне волнение и муку. Я хотел снова обнять ее, она отстранилась.

— Ты не знаешь одной вещи, — сказала она. — Не знаешь, что мы любим тебя *по-другому.* — Замявшись, она поправилась: — *Они* любят тебя по-другому, и я тоже должна была любить тебя так, как вначале, как брата…

— Не говори глупостей, — перебил я, целуя ее в плечо. — Да и они ни о каком «братстве» не думали.

— Нет же, — возразила Майтрейи. — Ты ничего не знаешь. — Она заплакала. — Господи, зачем все так вышло?

— Ты жалеешь? — спросил я. Она приникла ко мне.

— Не жалею, нет, ты. знаешь, и, что бы ни случилось, буду любить только тебя, я твоя. И однажды ты возьмешь меня с собой, в твою страну, правда? Я забуду Индию, я хочу забыть…

Она плакала и ласкалась ко мне, жесты ее поражали меня чистотой и в то же время уверенностью, какую трудно было ожидать от девушки, только накануне узнавшей первый поцелуй.

— Ничего им не говори. Они ни за что не отдадут меня тебе в жены. Они любят тебя только как своего сына, будущего сына.

Я с удивлением и радостью слушал ее, но Майтрейи охватила дрожь.

— Они мне сказали: «Майтрейи, теперь у тебя будет брат, Аллан. Постарайся полюбить его, он будет твоим братом, и баба усыновит его, а когда баба отойдет от дел, мы все поедем в его страну; у нас есть

состояние, и мы будем там жить как раджи; там нет жары и нет революции, и белые там не злые, как здесь, и они будут считать нас братьями…» А я — что я наделала? Ты понимаешь, как я люблю тебя, теперь ты понимаешь?..

Мне пришлось подхватить ее на руки, чтобы она не упала, и усадить в кресло. Мы долго просидели рядом, не говоря ни слова.

X

И начались другие дни. О каждом из них я мог бы написать по целой тетради, столько они вмещали, так свежи они в памяти. Августовские дни, когда каждую свободную минуту мы проводили вместе и я поднимался к себе, только чтобы переодеться и сделать запись в дневнике. Майтрейи готовилась к экзамену на бакалавра искусств, а я ей ассистировал. По-санскритски я не понимал ни слова, но можно было сидеть подле Майтрейи на ковре, украдкой пожимать ее руку, касаться губами волос любоваться ею, поддразнивать ее, пока учитель, близорукий пандит, комментировал «Шакунталу» или проверял тетрадки с упражнениями по переводу и грамматике. А не то Майтрейи сама толковала мне Калидасу, находя в каждой его строфе о любви намек на нашу тайну. Я изменился: музыка, поэзия, бенгальская литература потеснили мои прежние интересы. Я старался в оригинале разбирать вишнуитские стихи, волновался, читая перевод «Шакунталы», с полным равнодушием смотрел на полку, уставленную книгами по физике, и, через силу отработав день, бежал скорее домой, к своей Майтрейи.

Несколько дней спустя после нашего объяснения она пришла ко мне с каким-то, по ее словам, важным признанием. Я был так уверен в ее любви, так полон желания, всегда обуревавшего меня при ней, что ответил объятием и поцелуем.

— Нет, выслушай меня, — настаивала она. — Ты должен знать все. Скажи, ты когда-нибудь любил так, как сейчас?

— Никогда, — ответил я без запинки, не слишком хорошо сознавая, ложь это или только гипербола.

(Впрочем, что были те эфемерные увлечения плоти, которым я поддавался по молодости лет, по сравнению с теперешним чувством, забравшим у меня память, сделавшим из меня слепок с души и желаний Майтрейи?)

— Я тоже, — сказала Майтрейи. — Но вообще я любила. Рассказать тебе?

— Как хочешь.

— Я любила дерево по имени Семилистник, так они у нас называются, — начала она.

Я засмеялся и потрепал ее по голове.

— Тоже мне любовь, какая ты смешная!

— Нет, нет, я правда его любила. И Чабу сейчас тоже любит одно дерево, но мое было лучше, мы жили тогда в Алипоре, а там деревьев много, и они очень большие, вот я и влюбилась в одно, могучее, высокое, ужасно нежное и ласковое… мне не хотелось с ним расставаться. Мы с ним целыми днями ласкались, целовались, разговаривали, я ему посвящала стихи — кто бы еще меня понял? И когда оно гладило меня листьями по лицу, я таяла, я переставала дышать. Бывало, убегу ночью из дому голышом и заберусь на мое дерево — я не могла спать одна. Сижу высоко на ветке и плачу до рассвета, пока не продрогну. Раз меня чуть не застигла мама, и я от страха слегла — с тех пор у меня часто болит сердце. Я лежала много дней, и мне каждый день должны были приносить свежую ветку с семью листьями…

Я слушал, как слушают сказку, и Майтрейи уходила все дальше и дальше от меня. Какая сложная натура! Я еще раз убеждался, что определения «примитивные», «простые», «наивные» подходят скорее для нас, детей цивилизации, а каждый из этих людей, которых я полюбил до того, что захотел стать одним из них, заключает в себе целую мифологию, недоступную нашему пониманию, они-то и есть души глубокие и обильные, сложные и непостижимые. Мне было больно от того, что говорила Майтрейи. Больно от этой ее способности вкладывать страсть во все, тогда как я хотел владеть ею единолично. Такая любвеобильность в женщине — может ли быть большее мучение для мужчины?

Я видел ее, нагую девочку-подростка, в исступлении обнимающую дерево, — невыносимо мучительный образ, потому что остроту наслаждений, которую она тогда испытала, мне казалось, я не смогу дать ей никогда и не смогу затмить память о нем. Соитие с ветвями и листьями — такой любви я себе не представлял. Меня томило множество вопросов: как это совершалось? Как отзывалась ее нагота на его семипалые ласки? Какие слова вырвались у нее, когда она впервые почувствовала, что отдалась, что принадлежит ему?..

Она принесла мне засушенную веточку, плоскую, душистую, завернутую в серебряную бумагу. У меня в глазах потемнело от ярости, я взял веточку в руки, попробовал презрительно усмехнуться, но не сдержался и раскрошил ее в прах, кусая губы.

— Он тоже хотел так сделать, — обронила Майтрейи, — но я не дала.

Я помертвел. Значит, и он любил ее так же сильно, и он так же терзался, узнав, что его опередили, и кто — дерево! Куда девалась моя уверенность, мое самодовольство? Майтрейи бросилась целовать мне руки, повторяя, что она забыла и своего гуру, и свое дерево, что любит только меня, что *так* она никогда не любила. Я оставался нем, что-то рухнуло во мне, и я чувствовал бесконечную усталость и зло на самого себя. Это ревность? — билась в голове мысль.

— Если бы я не любила тебя одного, я бы не посмела признаться, — сквозь слезы говорила Майтрейи. — Теперь ты тоже должен мне рассказать обо всех, кого ты любил до меня…

— Никого я не любил, — возразил я мрачно.

— Как же ты мог жить без любви? — изумилась она. — И ведь ты гораздо старше меня, ты успел бы налюбиться вдоволь…

Я с минуту помедлил, колеблясь. Майтрейи меня разгадала.

— Нет, я не про тех девушек, которых ты держал в объятиях. Не смей мне про них говорить. Это грязь, а не любовь…

Она разрыдалась. Кто-то прошел по коридору, приостановился у нашей двери. (Вероятно, шофер, я потом узнал, что он тоже шпионил за нами.) Майтрейи подавила плач, зажав рот краем покрывала.

— Зачем ты меня мучаешь? — вдруг взорвалась она. — Почему не веришь, что я была чиста телом, сколько бы ни любила?

Я оторопел. Я ее мучаю? Она хлещет меня наотмашь своими признаниями и меня же еще обвиняет! Разве я сказал ей хоть слово, я просто безумец, который не может сопротивляться своей собственной страсти, который меньше всего хочет копаться в прошлом, а получает бесконечные напоминания о нем, бесконечное его смакование. (Я судил — и страдал — как типичный белый человек, мы предпочитаем закрывать глаза на неприятное, дорожа в первую очередь своим спокойствием, своим комфортом. Майтрейи плохо разбиралась в этих свойствах «цивилизованного человека» и отдавала мне себя всю, со

всем, что оплодотворяло до сих пор ее душу. Тело ее, я знал, было неприкосновенно — по крайней мере для мужской руки.)

В тот же день она рассказала мне еще об одной своей любви. Ей было лет двенадцать-тринадцать, и они с госпожой Сен поехали в храм Джаганатх, в Пури. Когда они вместе с толпой темными галереями огибали святилище, кто-то незаметно приблизился к Майтрейи и набросил ей на шею гирлянду цветов. На первом же светлом месте госпожа Сен заметила гирлянду и, спросив, откуда она взялась, сняла ее и повесила себе на руку. Но стоило им войти в темноту, Майтрейи снова почувствовала, что на шее у нее гирлянда. И эту гирлянду госпожа Сен тоже сняла при свете, а затем взяла дочь за руку. Но как только они попадали в темноту, все повторялось сначала. Так что в конце пути у госпожи Сен собралось шесть гирлянд. Она стала оглядываться с очень сердитым видом, потому что гирлянда на шее у девушки означает помолвку. И тогда появился юноша редкой красоты, с черными волосами до плеч, с пронизывающими глазами, с алым ртом (Майтрейи истязала меня этим описанием!). Он пал к ногам госпожи Сен, коснулся их рукой, произнес только одно слово: «мама» — и исчез.

Она любила этого юношу несколько лет, даже после того, как увлеклась Тагором (я подумал: а что, если она все еще любит Тагора, хотя увлечена мной? А что, если придет другой, когда я буду еще любить ее?). Потом она рассказала Тагору эпизод в храме, и ее хваленый поэт пустился в толкования: этот юноша-де был вестник любви, а шесть гирлянд были символом не знаю уж чего и так далее и тому подобное. Боже, какие джунгли в ее сердце и уме! Дремучие тропические джунгли символов и знаков, насыщенная атмосфера совпадений и чувственности. Где же мое место во всем этом? А ведь я был любим шестнадцатилетней девочкой, которая только что отдала мне, первому, свои губы…

— Теперь я твоя, только твоя, — закончила Майтрейи, обвивая меня руками. — Только ты научил меня, что такое любовь, ты дошел до моего сердца, тебе я отдалась. Когда ты сломал веточку, я была счастлива. Когда ты в ярости, ты как ветер, растопчи меня, будь суров и грозен, таким я тебя люблю. Почему ты недоволен?..

В самом деле, причин для недовольства у меня не было. Майтрейи всегда сама приходила ко мне в комнату в тот

послеполуденный час, когда все спали наверху под вентиляторами. В необъятном бамбуковом кресле она принимала мои ласки, которые делались все смелее. Теперь я мог покрывать поцелуями ее шею, плечи под легкой тканью, добираться до груди — при первом откровенном прикосновении моей изголодавшейся руки она замерла, похолодела, вся собралась в комок. Потом перевела дух и, сама разведя края одежд, вручила себя мне отчаянно, неудержимо, с безумием в глазах, как будто вот-вот должен был грянуть гром. Ни у какой самой прекрасной статуи я не видел такой груди: кровь, прихлынув к обнажившейся смуглой коже Майтрейи, зажгла скульптурную красоту плоти, ждущей меня. Все ее тело было ожидание, лицо застыло, глаза смотрели на меня как на бога. Этот трепет, эти содрогания — были ли они чувственной природы? Я очнулся, принудив себя к постепенности, но каждому моему прикосновению она отдавалась целиком, как чуду, на которое откликалось ее тело, будучи пока еще девственным. Только потом я узнал, что такая способность к плотским радостям была для нее крестной мукой. Одной рукой вцепившись в спинку кресла, другой гладя меня по волосам, она спросила, наконец набравшись храбрости:

— Это не грех?

Я промямлил что-то, как всегда первое попавшееся, и снова погрузился в постепенное познание ее тела. Время от времени, отрываясь, я видел откинутую на спинку кресла голову, сомкнутые веки, влажные от слез щеки с прилипшими прядками волос и, изумляясь полноте ее переживаний, пытался утешить:

— Когда мы будем муж и жена, не надо будет сдерживаться. Тогда ты вся будешь моей.

— Но *сейчас* это не грех? — спросила она снова, зажмурясь, кусая губы.

— Сейчас я тебя только целую и ласкаю. Тогда будет по-другому, ты будешь моей, моей…

— Разве я не твоя и сейчас? — говорила она погасшим голосом. — Разве это не грех?

Мне понадобился не один день, чтобы вникнуть в ее представление о грехе: желание ее было так велико, что она боялась, как бы роса любви, расточаемая таким образом, не пошатнула миропорядок. Как только она дала мне губы и обняла меня, приникнув всем своим телом к моему, мы заключили союз. И любовь должна

была совершиться до конца, в противном случае желание делалось пороком, а счастье нашего слияния — печалью плоти. Грехом были не мои попытки постепенно овладеть ее телом, а их ограниченность, потому что Майтрейи познавала содрогания любви, но они не давали завязи и не превращались в плод. Бесплодное расточение ласк было грехом, по индуистским правилам. По этим правилам, мы затянули соитие, которое должно было дать живые плоды — детей… Иначе любовь получалась с червоточиной, радость — с полой сердцевиной, а ласки — с привкусом греха…

Мне было неприятно узнать, что не любовь и желание вынуждают ее просить меня о решительном шаге, а предрассудки, страх перед кармой, богами, предками. В ночь этого открытия я думал, где же все-таки искать настоящую искренность чувств, подлинную невинность плоти: у них или у нас, цивилизованных? Выходит, все, что Майтрейи делала с того раза, как впервые поцеловала меня, она делала под диктатом общественных установлений, фактически под гипнозом. И спонтанность, богатство ее любви ко мне — не простое ли следствие этого первого падения, не определяются ли они просто ее варварским суеверным сознанием?

Я стал избегать, сколько было возможно, уединения с Майтрейи и долгих объятий и, любя госпожу Сен и уважая господина Сена, ждал случая попросить Майтрейи в жены, прежде чем овладеть ею. Я был нравственным человеком, отсюда все мои трагедии. Любовь не была для меня узким понятием, я не умел пожертвовать всем ради мгновенья истины или жизни, — потому и получал столько ударов, и волны несли меня, куда хотели.

Пока же мы вкушали всю полноту, все тепло общения в совместных поездках по окрестностям Калькутты. Выезжая по вечерам и возвращаясь за полночь, мы объездили на машине десятки километров, забираясь за Баракпур, Хугли, Чандернагор. Вдвоем с Майтрейи (я говорю «вдвоем», потому что мы видели и чувствовали только друг друга, хотя нас всегда сопровождал кто-то из домашних) мы осмотрели множество пригородных деревень, примеряя себя к домикам под кокосовыми пальмами, где нам так хорошо было бы укрыться. Мы оставили столько воспоминаний на этих дорогах, темных от колоннады обступивших их деревьев! А искусственные озера, на берегу которых мы сидели, украдкой взявшись за руки, пока

другие носили из машины корзины с сандвичами и фруктами! А ночные привалы на Чандернагорском шоссе, когда мы все замирали среди тишины, деревьев, светляков, летающих вокруг как в волшебном лесу. Особенно ярко запомнилась мне одна ночь: у нас заглох мотор как раз посреди этого феерического шоссе, и шофер вместе с Манту отправились в близлежащую деревню за инструментами. Господин Сен остался вздремнуть в машине, а мы втроем — Майтрейи, Чабу и я — пошли посмотреть на лес лес под безлунным небом со всеми звездами, какие только есть в Бенгале, со светляками, украсившими нам волосы и платье, как сказочные алмазы. Мы молчали и невольно переплелись руками под прикрытием колдовской темноты, хотя рядом была Чабу. Не знаю, чья безвестная душа во мне откликнулась тогда на зов этой вновь открываемой Индии. Лес был без начала, без конца, обманные звездочки светляков мешались с далекими звездами, проступавшими сквозь кроны вековых эвкалиптов. Мы остановились у пруда, обычного искусственного пруда, где разводят рыбу, и замерли все трое. Какие чудеса скрывала под сомкнувшими лепестки лотосами неподвижная вода с мельканием сверкающих крупинок? Мне хотелось встряхнуться — вернее, не мне, а нормальному молодому человеку во мне, который дал усыпить себя чарам соскользнувшего в сказку окружения, неземной благости нашего присутствия у этих тихих вод. Мы простояли так долго, и я не поцеловал Майтрейи. У меня не было желаний, всякий жест оказался бы лишним. На душу снизошла неправдоподобная ясность — при всей экзальтации, почти наркотической, вызванной таинством и игрой природы. Как это совмещалось, я объяснить не умею…

Один раз, забредя на рисовое поле и промочив ноги чуть ли не до колен, мы выбрались к заброшенному дому и расположились обсушиться на руинах, зарастающих зеленью. Звезды еще не взошли, вечер был теплый, с дуновениями эвкалипта. Майтрейи, сидящая рядом в позе настолько удобной, насколько это ей позволяло шитое серебром сари, искала глазами вдали, за полем, кромку леса. Все вокруг стало тайно сопричастным нашему желанию бежать и быть только вдвоем. Лес звал нас, предлагая убежище под своей густой тенью, среди блаженных птиц. Мы обернулись друг к другу, и волнение, превосходящее все пределы, нахлынуло на нас, как тогда в библиотеке, в наш первый день. Я помог Майтрейи спуститься со

стены и на ходу коснулся губами ее волос — коснулся душой, потому что она откликнулась вся, смежив веки, не думая о том, что нас могут увидеть из машины Лилу и госпожа Сен — наша всегдашняя опасность.

Воспоминание об этих поездках — до сих пор самое пронзительное, самое светлое для меня. Если память плоти недолговечна, если соитие тел, каким бы совершенным оно ни было, подобно голоду и жажде, легко забывается, то никакой темноты и мути не было в нашем единении, на природе, когда одними глазами мы говорили друг другу все, а простое объятие давало больше, чем ночь любви. Там мы снова вернулись к открытию нашего первого дня — к встрече глаз, пристальной, гипнотической, ненасытной. Когда по дороге домой мы останавливались на перекрестках, в ярком свете, наши глаза искали друг друга и, найдя, так отчаянно, так буйно схлестывались, что я до сих пор недоумеваю, как нас не разоблачили тогда же наши спутники. Или для них это было проявлением той любви, какую они нам прочили?

Раз мы увидели ночной Чандернагор. Иллюминация вдоль бульвара не могла скрасить гнетущего впечатления от руин дворца — былой славы этой старой, забытой Богом французской колонии. Торжественные мысли о мощи и бессмертии Индии, которая все стерпит, все сгладит, как будто ей нет дела до своих захватчиков и владык, посетили меня. Мы мчались в машине двадцатого века, а рядом, бок о бок со мной, сидела отшельница из Упанишад[21], Майтрейи — химера, святая? — душа непроницаемая и непостижимая, как, впрочем, и все ее соплеменники. Я коснулся ее руки — не сон ли это? Неужели я любим *этой девой?*

В Белур-Матх, обитель Свами Вивекананды, мы приезжали чаще, чем куда бы то ни было, особенно в праздники, потому что Ганг в этом месте омывает ступени храма, и зрелище чудесное, и воздух напоен благоуханиями. Там нам гулялось особенно хорошо — без лишних слов и без внешних жестов любви. Там мне казалось, что я обретаю душевный покой, какого раньше мне было не дано. Не знаю, любовь ли моя к Майтрейи или вообще переоценка ценностей повлияли на меня, но я стал подумывать об обращении в индуизм. Тогда бы между нами уже не было препятствий. Я рассуждал так: если верно то, что все религии хороши, что один и тот же Бог проявляет себя в каждой из

них, тогда почему я не могу перейти в веру Майтрейи? Я отрекаюсь от своей веры не из страха и не из корысти, а потому, что любовь толкает меня на это испытание. Если мертвая догма может преградить путь живой любви, чего стоит такая любовь? Если я убежден, что истина поделена поровну между всеми религиями, почему я не воплощаю свое убеждение в поступках? Сейчас вам любой миссионер, шагающий в ногу с веком, скажет: все религии равны. Что толку от слов? Я хочу доказать самому себе, что индуизм ничуть не хуже христианства, если человек на самом деле верит в Бога. А если не верит, тогда ему не поможет ни то ни другое.

Я поделился своими мыслями с Майтрейи там же, в Белур-Матхе, и она, когда прошло первое замешательство, сказала, что, если я перейду в индуизм, нас уже никому не разлучить. Она припомнила несколько случаев такого обращения (одного француза, профессора из Шантиникетана, женившегося на бенгалке, я даже знал лично — этот человек, пересаженный на чужую почву, произвел на меня сильное впечатление: просветленный, счастливый, окруженный сыновьями и дочерьми, которых он растил по индийским обычаям). В тот же вечер, по возвращении в Бхованипор, Майтрейи объявила госпоже Сен о моем решении, а после, не вытерпев, спустилась ко мне сказать, что мама вне себя от счастья, что наверху, у женщин, только об этом и разговору и что теперь, улучив удобный момент, я могу без всяких опасений попросить ее в жены. Мы обнялись, и уверенность, даже привычность наших объятий позже навели меня на некоторые мысли. («Не будет ли это всеобщее поощрение и покровительство потолком для нашей любви?» — думал я.)

Однако господин Сен, услышав новость, напротив, посуровел и твердо сказал, что мне не следует поддаваться скороспелым симпатиям к религии только из-за экзотики и красоты церемониала; что моя религия лучше и если он, господин Сен, не может в нее перейти, потому что потеряет положение в обществе, то у меня-то никаких причин отказываться от нее нет. Что он не даст своего благословения, не получив согласия властей, и что вообще религия — это вопрос не только взглядов на жизнь, но также любви и уважения к близким, которые ее исповедуют. («А моя любовь?» — думал я, слушая его. Потому что он был прав, но прав был и я.) Такое явное сопротивление господина Сена подействовало на нас с Майтрейи удручающе. Мы

решили, что в октябре я уеду на месяц в Пури и вернусь уже обращенным, чтобы положить конец дискуссиям.

Вскоре у господина Сена, который уже некоторое время страдал высоким давлением, случился гипертонический криз, потом подряд еще и еще. Весь дом переполошился, наши автомобильные прогулки стали гораздо реже, приходилось сидеть привольном, читая ему романы или книги по психологии и медицине (вынужденная неподвижность навела инженера на мысли о душе и болезнях, и он хотел навести справки по первоисточникам). Мы читали по очереди— Манту, я и Майтрейи. Господин Сен боли не испытывал, но ему прописали постельный режим и черные очки на глаза. Его болезнь, длившаяся несколько месяцев, не была мне в тягость, так поддерживала меня и отвлекала игра нашей любви.

Я обнаружил в себе интерес к внешним событиям. Национальная революция снова стала угрозой — 50000 человек были брошены в тюрьмы. Но понадобилось несколько ужасных сцен: атака конной полиции, разгром сикхского квартала в Бхованипоре, вид избитых детей и раненых женщин) чтобы я возмутился по-настоящему. Я стал тогда осуждать всех британцев без разбора, меня подогревали газетные заметки об очередных варварствах белых, я с гадливостью смотрел на белые лица в трамвае, отказался от английского табака и зубной пасты, вообще от всего привозного из Англии, обходясь местными товарами или, на худой конец, японскими. Впрочем, жизнь в Бхованипоре давно приучила меня к умеренности.

Спустя несколько дней после налета полиции на сикхский квартал меня навестил Гарольд. Как я и предполагал, он пришел попросить взаймы, на этот раз сумму посолиднее — 100 рупий. Деньги я хранил в банке и выдал ему чек, радуясь, что могу услужить бедняге (он задолжал за три месяца квартирной хозяйке и не знал, как перебиться до получки), и в то же время досадуя, что помогаю врагу Индии — кажется, я превращался в шовиниста. После того как Майтрейи принесла нам чай и, задержавшись немного в моей комнате, ушла, я попытался перевести разговор на Ганди и революцию. Гарольд, как всякий евразиец, не допускал мысли о подобном безобразии и приветствовал террор, развязанный полицией и армией, но поскольку он пришел ко мне просить сотню рупий, то от спора воздержался. Я почувствовал мотивы его сдержанности, и мне стало грустно. Однако у

Гарольда была и еще одна цель: он пришел разнюхать, как я здесь живу — опустился ли до уровня «черномазых» или позволяю себе кое-какой комфорт. А больше всего его любопытство разжигала Майтрейи, и когда он увидел, как она разливает чай, как цветет улыбкой и румянцем, украдкой поднимая на меня глаза, как привычно двигается по моей комнате, то не преминул сказать:

— Аллан, старина, я вижу, ты влип…

— Да мне ничего другого и не надо — лишь бы они меня приняли в свой мир, — возразил я, глядя ему прямо в глаза. — Живой мир. Живые люди, они терпят и не ноют, у них еще есть мораль, их девушки — праведницы, а не потаскушки, как наши. Жениться на белой? — я постарался вложить в свои слова как можно больше сарказма. — На девушке, которая толком не знает ни что такое быть девственной, ни что такое отдаваться — отдаваться безраздельно? Слуга покорный. Наш мир изжил себя, все белые континенты мертвы. Мне там нечего искать. Если меня примут, о чем я молю Бога, в индийскую семью, я найду в себе силы бросить прежнюю жизнь. У нас вместо здоровой основы — бредни и абстракции, у них — вера и счастье. Я вижу счастье теперь только в совершенной любви, и такую любовь я не найду нигде, кроме как здесь, в этом индийском доме… Я говорил искренне, с жаром, проясняя для самого себя некоторые мысли, до той поры не оформленные. Гарольду слушать было и любопытно, и неловко, и дико. Впрочем, он мало что понял из моей главной идеи о смерти белых континентов, к тому же ему не терпелось поскорее уйти, пропустить стаканчик виски, которого он давно себе не позволял. Поэтому он спросил только:

— А как же твоя религия?

— По мне, христианство еще не родилось. Если что и было — так только церкви, догмы и ритуалы. Христианство зарождается здесь, в Индии, на земле, более всего согласной с Богом, где люди по-настоящему тянутся к любви, свободе, пониманию. Я не мыслю себе христианства без свободы и без примата духовности…

Гарольд, который слышал от меня раньше только разговоры о физике и инженерных конструкциях, в крайнем случае — комментарии к очередной интрижке, оторопело внимал моей апологии нового индийского христианства. Я и сам чувствовал, что меня занесло, и прекрасно понимал, что пылом своих высказываний обязан

любви Майтрейи со всеми вытекающими отсюда религиозными и политическими последствиями. Может быть, все, что мы делаем, определяется рабством наших чувств? — не раз думал я потом, в те месяцы, что пытался открыть для себя новую истину.

— Очень заумно, — резюмировал Гарольд. — Вот так приворожат, упаси Бог… — добавил он, поднимаясь.

Когда в возбуждении от разговора я шагал взад и вперед по комнате, заново перебирая в голове все аргументы, не упустил ли я чего, вошла Майтрейи и бросилась мне на шею.

— Хорошо, что он ушел. Я так соскучилась…

Обнимая ее, я впервые ощутил страх, что любовь Майтрейи может мне когда-нибудь прискучить. Вот сейчас мне нужно было хоть сколько-то побыть одному, потому что приход Гарольда меня взбаламутил и мне хотелось поразмышлять, прояснить до конца и уточнить некоторые логические ходы, а Майтрейи еле дождалась, пока гость уйдет, чтобы упасть в мои объятия. Я чувствовал, что у меня отбирают что-то мое, претендуют на самое потаенное. Я отдал себя Майтрейи и ни минуты не был один: она и во сне не оставляла меня. Когда мне надо сосредоточиться, почему она этого не угадывает? Почему даже самая большая любовь так непроницательна?..

Я все еще держал ее в кольце рук, касаясь губами макушки, благоухающей кокосовым маслом, когда вошел Кхокха и, воскликнув: «Пардон!», тут же ретировался.

XI

На другой день, вернувшись из города, я нашел у себя под дверью записочку: *«Жду в библиотеке»* — и тут же спустился вниз. На Майтрейи лица не было.

— Кхокха может проговориться!

Я, стараясь скрыть волнение, попытался убедить ее, что тут нет ничего страшного. Майтрейи сжимала мои руки, неотрывно глядя мне в глаза, как будто черпая поддержку в моей уверенности.

— Нам надо обручиться, а после уже сказать баба. Пока он болен, не надо его волновать.

— Но разве мы не обручились давным-давно? — удивился я. — Ты же подарила мне гирлянду, и я ее принял.

— Раз Кхокха знает, — объяснила Майтрейи, испуганно озираясь, — мы должны закрепить наш союз, чтобы на нас не пало проклятие, чтобы не нарушить ритм.

Я испытал то же чувство восхищения с привкусом горечи, что и всякий раз, как натыкался в душе Майтрейи на джунгли предрассудков. Ритм, карма, предки… Сколько таинственных сил надо привлечь, у скольких испросить согласия на счастье одной четы!..

— Я выбрала камень для твоего перстня, — продолжала Майтрейи, развязывая кончик сари и доставая черно-зеленую штуковину, похожую на голову ящерицы с красной продольной полоской.

Она объяснила мне идею перстня. По традиции, он будет сделан в виде двух свернувшихся змеек, железной и золотой, обозначающих соответственно мужское и женское начало. Камень она отыскала в ларце у госпожи Сен, там их целая груда, еще от предков. Никакой ценности он собой не представляет, так что никто не сможет обвинить ее в краже, хоть она и взяла его без спросу. Впрочем, там было много похожих на этот, в мамином ларце. (Почему она так оправдывалась, я узнал позже: она боялась, что я буду судить ее по христианским меркам.) Вообще-то помолвку освящают не вполне так, объясняла дальше Майтрейи. Полагается, чтобы невеста получила от жениха браслет, в котором переплетены две полоски — золотая и железная, а

жених от нее — простое кольцо. Но поскольку она не может открыто носить обручальный браслет, то придется перенести все символы в мой перстень…

Она говорила долго, а я слушал, завороженный, хотя в редкие моменты просветления во мне поднимался протест против этого сомнительного, отдающего мистификацией ритуала. Мне казалось насилием над нашей любовью стремление ее узаконить, закрепить внешне, хотя бы и символически. Что я особенно ценил в нашей любви, так это именно ее спонтанность, ее необусловленность ничем.

Все же, когда ювелир принес мне перстень, я, вертя его в руках, испытал детскую радость. Он был так мастерски сработан, что мог сойти за обычное кольцо, правда пооригинальнее прочих, но с прекрасно закамуфлированной символикой. Никто в доме не догадался, а если Лилу с Манту и спросили, не собираюсь ли я жениться на индианке, то разве что в шутку. К тому же болезнь главы семейства целиком поглощала внимание домашних.

После вечернего чая Майтрейи, зная, что все заняты, пожаловалась на головную боль и попросила разрешения поехать на Озера, развеяться. Составить нам компанию вызвалась одна Чабу, но, поскольку уже несколько дней она вела себя как-то странно: то молчала, уставясь в одну точку и не отвечая на вопросы, то принималась без удержу петь, — госпожа Сен ее не пустила, а дала нам в свиту сестру Кхокхи, молодую, очень застенчивую вдову, которая целыми днями работала по дому и была счастлива прогуляться на машине. Итак, я сел рядом с шофером, женщины — сзади, но, когда мы приехали и остановились на обочине дороги под гигантским эвкалиптом, вдова осталась в машине, шофер пошел за лимонадом, а мы с Майтрейи одни спустились к Озерам.

Озера я любил больше всего в Калькутте — из-за того, что они были единственной искусственной зоной в джунглях, из которых вырос этот город. Вода в них стояла тихо, как в аквариуме, и ночью напоминала каток под легким качанием электрических гирлянд. Парк казался мне бесконечным, хотя я прекрасно знал, что с одной стороны его ограждает железная дорога, а с другой — шоссе и кварталы предместий. Я любил бродить по аллеям, спускаться к кромке воды, где вольно разрослись молодые деревья, насаженные после окончания работ, — они как будто чуяли, что здесь недавно были джунгли, и

хотели вернуть месту утраченную свободу. В такой рощице мы и остановились, надежно скрытые зарослями со всех сторон. Майтрейи сняла перстень с моего пальца и зажала его в своем маленьком кулачке.

— Сейчас мы обручимся, Аллан, — сказала она, глядя прямо перед собой, на воду.

Это торжественное начало резануло мой слух. Я был слишком трезв для такого момента. (Но я любил ее, видит Бог, я любил ее!) Я ожидал, что воспоследует сцена из романа или из какой-нибудь средневековой индийской баллады о легендарной и безумной любви. Я побаивался этой литературы — пусть я был не слишком начитан, но я имел случай наблюдать, на примере Майтрейи, как она усваивается в отрочестве и юности. Обет, зарок, ритуал — я стеснялся пафоса, как всякий цивилизованный человек. (И это я, намеревавшийся отряхнуть с ног прах цивилизации, вырвать ее из себя с корнем!)

Но Майтрейи говорила так просто, так сильно, что я дрогнул и стал поддаваться. Она обращалась к воде, к небу и звездам, к лесу, к земле. Встав на колени и касаясь земли рукой с зажатым в ней кольцом, она давала обет:

— Клянусь тобой, земля, что я буду Алланова, и ничья иная. Я буду расти из него, как трава из тебя. И как ты ждешь дождя, так я буду ждать его прихода, и что для тебя лучи солнца, то будет тело его для меня. Клянусь перед лицом твоим, что союз наш будет родить, ибо я отдаю себя по своей воле, и все зло, если ему суждено быть, пусть падет на меня, а не на него, ибо я его избрала. Ты слышишь меня, матерь-земля, ты не обманешь, матушка моя. Вот рука моя, вот кольцо, если ты чувствуешь меня сейчас так, как я тебя, укрепи меня, чтобы я любила его вечно, чтобы я принесла ему счастье, какого он не знал, чтобы я дала ему жизнь, полную до краев. Да будет жизнь наша подобна радости трав, что растут из тебя.

Да будет объятие наше подобно первому дню муссона. Дождем пусть будет поцелуй наш. И как ты никогда не знаешь устали, матушка, пусть не знает устали сердце мое в любви к Аллану, которого небо родило далеко, а ты, матушка, привела ко мне…

Ее слова обволакивали, зачаровывали, потом они слились в какой-то младенческий лепет, односложный, непонятный без ключа. В речитативе я различал то одно, то другое бенгальское слово, но общий

смысл от меня ускользал. Когда она смолкла, дотронуться до нее я не посмел, так ограждало ее волшебство звуков. Я сидел рядом, одну ладонь положив на колено, другой опершись о землю, как будто повторяя за ней магический ритуал обета. Она заговорила первая:

— Теперь нас никто не разлучит, Аллан. Теперь я твоя, совсем твоя…

Я мучительно искал слова, но не нашел ни одного свежего, которое бы не оскорбило моего торжественного чувства и ее преображения: у девушки на вечерней прогулке не бывает такой неподвижной сосредоточенности черт, и я долго потом вспоминал ее лицо в ту минуту.

— Однажды ты возьмешь меня в жены и покажешь мне мир, правда?

Это она произнесла по-английски, и ей показалось, что фраза прозвучала вульгарно.

— Я пока очень плохо говорю по-английски, да, Аллан? Ты Бог знает что можешь обо мне подумать… Но я хочу посмотреть на мир вместе с тобой, увидеть его так, как видишь ты. Он большой и прекрасный, правда? Отчего люди вокруг хлопочут, бьются? Я хочу, чтобы все были счастливы. Ах, нет, я говорю глупости. Как мне хорошо сейчас, как хорошо…

Она рассмеялась. Я снова оказался в обществе прежней Майтрейи, какой она была зимой, — невинного, импульсивного существа с речью прерывистой и противоречивой. Канул куда-то весь ее женский опыт, вся благоприобретенная взрослость.

Действительно, в последующие дни я убедился, что помолвка вернула ей душевный покой, радость жизни и вкус к игре. С той минуты, как обряд освятил наш союз, напряжение ее отпустило, страхи рассеялись, перестала терзать мысль о грехе. Я обрел заново ту непостижимую Майтрейи, перед которой вначале терялся, которой восхищался и которую незаметно принял в сердце — между делом, среди игр, думая, что это я расставляю ей ловушки, лишенные, впрочем, всякого остроумия.

Надо было скорее возвращаться в машину, уже по-настоящему стемнело. Я так и не посмел обнять Майтрейи. Наша спутница дремала на заднем сиденье, она встрепенулась нам навстречу и с видом заговорщика смотрела, как мы идем: я — выше и крепче, чем

Майтрейи, зато она — моложе: ослепительно прекрасная, с выражением участливого внимания ко всему, с радостью вновь обретенной свободы в игре лица. (Позже Майтрейи сказала мне, что сестра Кхокхи первая узнала о нашей любви и покрывала нас, как могла; она, хлебнувшая столько горя в своем неудачном браке — ее выдали замуж двенадцати лет за человека, которого она первый раз увидела в день свадьбы и которого страшно боялась, потому что он ее насиловал и избивал каждую ночь до и после «любви», — так вот, она всегда советовала Майтрейи не смущаться кастовыми законами и семейными строгостями, а начать действовать и в случае чего даже решиться на побег. Эту женщину, оказавшуюся моим другом и другом Майтрейи, единственную, кто утешал ее в черные дни, я видел очень редко, если и говорил с ней, то случайно и даже не знал ее имени. А ведь во всем доме Сенов она одна понимала нас и любила вполне бескорыстно.)

В тот вечер странности в поведении Чабу усугубились, и ее уложили спать в комнате госпожи Сен. Симптомы были непонятные: ей все время хотелось высунуться в окно, как будто ее кто-то звал с улицы или она там что-то видела.

Я лег спать, переполненный происшествиями этого дня, и уже погрузился в приятные сны с катанием на воде, с лебедями и мерцанием светляков, как вдруг меня разбудил осторожный стук в дверь. Я в удивлении спросил, кто там. Ответа не последовало. Испытав, признаюсь, некоторый страх, я зажег свет. Вентилятор создавал легкий шумовой фон, заметный, только когда его выключишь. Я отпер дверь и оцепенел при виде Майтрейи в тонком зеленоватом сари, дрожащей и босой (чтобы не шуметь на лестнице?). Я стоял в полной растерянности.

— Погаси свет, — шепнула она, проходя мимо меня в комнату и прячась за спинку кресла, чтобы ее ненароком не увидели с улицы.

Я погасил и подошел к ней, глупейшим образом спрашивая:

— Что с тобой? Ты ко мне? Что случилось, Майтрейи?

Вместо ответа она несколькими движениями расправилась со своим сари, зажмурясь, закусив губу, не дыша, обнажив плечи и грудь. Вид ее наготы при бледном свете уличных огней подействовал на меня ошеломляюще, как чудо, в своем плотском и точном воплощении превосходящее пределы любой фантазии. Если я и представлял себе —

а я представлял не раз — нашу первую ночь и ложе, где я познаю ее, то никогда моя мысль не простиралась так далеко, чтобы вообразить чистейшее тело Майтрейи, которое само, по своей воле, обнажает себя передо мной. Это было за чертой воображения, хотя я и обставлял иногда экзотическими обстоятельствами головокружительное видение нашей близости. В ее поступке меня убила именно его простота и естественность: девушка сама приходит в комнату жениха, потому что после помолвки между ними уже ничего не стоит.

Тихо-тихо я обнял ее, стараясь не привлекать слишком близко, как бы робея от ее наготы, но, ощутив все еще окутанные сари бедра, одним гладящим движением вдоль выгнутой спины высвободил их, сам содрогнувшись от такого кощунства и опускаясь на колени перед этим телом, которое для меня перешагнуло пределы мыслимого совершенства и стало причастным к сверхреальности. Она положила руки мне на плечи, словно умоляя подняться. Говорить она не могла, ее бил озноб, и тот вал радости, который принес ее в мою комнату, все же не мог развеять страхи этой минуты. Она двинулась к моей постели мягкими, медленными шагами, и тело ее зазвучало в ином ритме, пока она шла. Я хотел отнести ее на руках, но она воспротивилась и, поцеловав мою подушку, легла сама. Только один миг я видел на белой простыне живую бронзу ее тела, трепещущего, зовущего меня. Миг спустя я закрыл окна деревянными ставнями, и в комнате стало совсем темно. Я почувствовал ее рядом, сжавшуюся, будто она хотела спрятаться, затаиться, и это была не только робость и жажда тела, но жажда меня всего: она хотела перейти в меня вся, как перешла в меня ее душа. Больше я ничего не помню, я потерял себя и познал ее в беспамятстве. На исходе ночи она поднялась, не глядя на меня, завернулась в сари и, только когда я открыл дверь, провожая ее (со сколькими предосторожностями!), обронила:

— Это небо так велело. Видишь, сегодня, в день перстня, Чабу не спала вместе со мной.

Я стоял, стараясь различить ее шаги, поднимающиеся по ступенькам, но не услышал ни звука, так легко она скользила вдоль стен.

* * *

Утром не кто иной, как Майтрейи, пришла звать меня к чаю. Она принесла к тому же цветы из сада и расставила их по вазам с улыбкой, которая стоила дороже объятия. Она была убийственно бледна, с распущенными волосами («это ты их спутал так, что я не смогла причесаться») и с припухшими от поцелуев губами. Я испытал блаженство при виде этих следов нашей первой ночи. Красота Майтрейи расцвела, как будто ее тело разом проснулось, и искусанные губы рдели триумфально и вызывающе. Я удивлялся, как могла пройти незамеченной такая перемена, почему домашние так легко приняли ее объяснения (дескать, она не спала, волнуясь за Чабу, и кусала губы, чтобы не плакать, а кроме того, болезнь отца утомила ее сверх меры и т. д.).

День пролетел незаметно, мне пришлось провести его в офисе, работая с заместителем господина Сена. Вернувшись домой, я застал Майтрейи на веранде, она вертела на пальце колечко, сделанное из шпильки, с бобом глицинии вместо камня.

— Ночью не запирайся на засов, — шепнула она, убегая.

Она пришла ближе к полуночи и на этот раз не дрожала, а чуть ли не рассмеялась, когда обняла меня. Я был счастлив, что мысль о грехе больше ее не угнетает, что часы любви больше не будет омрачать суеверный страх. Я не узнал ее — так откровенны были ее объятия, так мощен зов тела, так великолепны ласки. Я вдруг обнаружил, что она сама ласкает меня — она, вчерашняя девственница! Меня потрясла ее полная раскованность, и при этом без единого распутного жеста и без самолюбования, пусть неосознанного. Она просто была сама собой в слиянии наших тел, она снова обрела способность к игре и воплощала ее, даря мне себя без каких бы то ни было ограничений, без оглядки. Что знала о любви эта девочка — и она не боялась любви! Ее не утомляла ни одна ласка, ее не заставало врасплох ни одно мужское прикосновение. Любую смелость она принимала, как будто не ведала стыда, из всего извлекая высшую чувственную радость, ни перед чем не пасуя, не смущаясь ничем. Если бы не опасение, что нас услышат, она бы пела после каждого объятия, она вопила бы от боли и блаженства в момент соития, она кружила бы по комнате, сверхъестественно гибкая и парящая. Ее открытия в любви меня просто обескураживали. Я-то полагал, что мой прежний опыт дает мне кое-какое превосходство, по крайней мере техническое, но она

оставляла меня далеко позади по части изобретательности. Уверенность, с какой она целовалась, пристальность объятий, ритм тела, изумляющий разнообразием, каждый час иной, с каждым часом все смелей, все спонтаннее, — мое искусство бледнело перед ней. Она подхватывала любой намек и доводила до совершенства любое начинание, ее инстинкту можно было позавидовать. Она угадывала импульсы моего тела с такой точностью, что я сначала даже терялся. В ту секунду, когда мне надо было передохнуть, только держа ее за руку, она мгновенно отодвигалась, как будто это ей требовался отдых. Когда я впадал в задумчивость, она сворачивалась клубочком, обнимала подушку и закрывала глаза, как бы прося ее не беспокоить. Я нашел в комнате ночник, и мы включали его за креслом, набрасывая сверху ее покрывало, Майтрейи нужен был хоть бы слабенький свет — она не любила темноты. Ее глаза хотели меня так же жадно, как все тело, и объятия в темноте первых ночей наводили не нее тоску.

Я часто спрашивал себя, когда она спит, потому что она уходила всегда на рассвете, а уже через два-три часа, которые проводила за медитацией и письмом, чтобы наутро дать мне с собой на работу стихи и послания, посвященные нашей любви, спускалась готовить чай. И она же будила меня к завтраку стуком в дверь. А если я долго возился с умыванием, распекала меня, как ребенка, — в ее голосе появлялись тогда ворчливые, покровительственные, то ли тетушкины, то ли материнские нотки, повергавшие меня в смущение, поскольку я хотел видеть в Майтрейи только свою любимую; я не сразу проникся их очарованием, не сразу понял, что передо мной открываются новые грани любви, которых я не знал раньше и которыми пренебрегал, не подозревая об их прелести.

От недосыпания я плохо, с отвращением работал, к тому же меня раздражал новый шеф, только что из Америки и большой враг индийских традиций: сам бенгалец, он ходил исключительно в европейском костюме, даже дома, и держал себя наигранно до нелепости. Вероятно, я выглядел неважно, потому что Кхокха как-то раз заметил:

— Что-то ты бледный. Не надо спать с закрытым окном.

Из этого замечания я уяснил, что Кхокха ревниво следит за нами и наверняка уже знает о ночных приходах ко мне Майтрейи. Опасаясь, как бы он нас не выдал, я старался подкупить его — сигаретами и

книжками. Вообще он был умный парень, но не в меру честолюбивый: писал киносценарии, которые у него никогда не покупали, и поэтому ненавидел нас всех, хотя внешне держался дружелюбно, а уж посмеяться был просто мастер.

Состояние Чабу не улучшалось. Доктора, сначала местные, потом самые знаменитые английские, не могли поставить диагноза. Одни предполагали юношескую шизофрению, другие — невроз, вызванный опущением матки (бедная девочка в последнее время несколько раз неосторожно прыгала с дерева, с довольно большой высоты). Чабу уложили в постель в комнате, примыкающей к спальне матери. Она теперь почти все время молчала, а если и говорила, то о Роби Тхакуре, о «пути», который ей открывался из окна комнаты Майтрейи, и, если оставалась одна, тут же выбегала на балкон, пела там, махала кому-то руками и плакала. Поэтому ее приходилось все время стеречь, подле нее дежурили Лилу и сестра Кхокхи. Чабу перестала узнавать всех, кроме Майтрейи и меня, не всегда узнавала даже госпожу Сен. Я изумлялся, как эта добрая женщина может сохранять спокойствие и улыбку, когда у нее болен муж и сходит с ума ребенок, как ей удается вести такой большой дом, быть внимательной к каждому из нас, следить, чтобы вовремя подавали обед и чай, меня мучило, что в столь тяжелое для нее время я занимаюсь любовью с Майтрейи, и я ждал случая признаться ей во всем и получить прощение. Моя поездка в Пури, а значит, и мое обращение снова откладывались, и не только из-за болезни инженера. Меня не отпускали Майтрейи и госпожа Сен, потому что политические беспорядки на юге Бенгала то и дело приводили к кровопролитию.

Один раз Чабу заметила мой перстень и попросила дать ей поиграть. Я заколебался, поскольку обещал никогда, ни на минуту t ним не расставаться, и вопросительно взглянул на Майтрейи. Она кивнула: надо было успокоить расхныкавшуюся Чабу. Я подал ей перстень, она завязала его в уголок платка, а платок обвязала вокруг шеи. Не знаю, что она нашла в этом темном камушке, но она все время его разглядывала, вертела в руках, пыталась посмотреть сквозь него на свет.

При всех стараниях докторов Чабу не становилось лучше. Тогда стали звать знахарей и заклинателей. Пришел старик с доброй и благостной внешностью — петь вишнуитские гимны: бередящие душу

мелодии, пронзительно-тоскливые, размягчающие волю. Слушать его собрался весь дом, даже инженера в черных очках уложили в шезлонг, с подушкой под головой, а женщины, Манту, Кхокха и я расположились на ковре и слушали, подперев голову рукой. Наблюдая, как одно общее чувство охватило всех — так что сам инженер прослезился, а Майтрейи накрылась с головой покрывалом и всхлипывала, — я почувствовал внутреннее сопротивление этому навязываемому извне коллективному страданию и вышел. Но даже и у себя в комнате мне было никуда не деться от песнопений, они пронизывали весь дом и издали еще больше баламутили душу. Тот же старец, пытавшийся заклясть звуками разум бедняжки Чабу, принес снадобье, что-то вроде мази на меду, ее полагалось втереть в кожу на макушке, перед тем срезав волосы. Разыгралась ужасная сцена — ни у кого рука не поднималась выстричь девочке полголовы. Наконец прибегли к моей помощи. Чабу ничего не сознавала. Я заглянул ей в глаза и с ласковыми словами, чтобы заглушить лязг ножниц, принялся стричь под корень прядь за прядью ее волосы, которые тут же незаметно для сестренки прибирала Майтрейи, стоя у изголовья кровати. За четверть часа мне удалось выстричь Чабу макушку, и тогда госпожа Сен наложила на нее подогретую мазь. Чабу обвела всех взглядом, попыталась ощупать голову, потом сорвала с шеи платочек с перстнем, и слезы брызнули у нее из глаз и потекли по черному хорошенькому личику. Она плакала тихо, без всхлипов, без спазмов, и мы не знали отчего — поняла ли она, что ее варварски обкорнали, или плакала просто так? С тех пор как она заболела, глаза у нее постоянно были на мокром месте, особенно горько она рыдала, когда ее не подпускали к окну.

Начались дни, настолько насыщенные тревогами, что я плохо их помню. После работы я сразу бежал наверх, узнать, как самочувствие инженера и Чабу, потом, наскоро приняв душ и поев, снова шел наверх, сидеть с девочкой (она часто звала меня в своих бредовых состояниях, называя Аллан-дада, и при мне немного успокаивалась), а ночью я был с Майтрейи, которая отдавалась мне как безумная, все безогляднее, все ненасытнее, напуганная тем, что творилось вокруг нас. Утром я вставал усталый и полный неясных страхов. Господину Сену предстояла операция на глазах, и врачи предписывали ему полный покой, а обстановка в доме, чреватая неизвестно чем, конечно,

угрожала его зрению. Потому-то меня смущала неосторожность Майтрейи: она приходила ко мне, когда дом еще не успевал как следует уснуть, а в комнате у Чабу пожимала или целовала мне руку, клала голову мне на плечо — все это могло быть замечено в любой момент. Кхокха и так заставал нас несколько раз, когда мы обнимались, а Лилу и Манту подозревали о нашем романе, конечно не допуская мысли о том, что мы уже любовники.

К тому же у нас возникли свои сложности — ревность. Когда-то Майтрейи перенесла болезнь под названием бери-бери, и к вечеру у нее слегка распухали икры ног, так что врачи прописали ей массаж в дни, когда особенно влажно. В такие дни с утра Лилу или сестра Кхокхи растирали ее всю маслом с тошнотворным запахом, которое она после с трудом смывала. Но иногда у нее случались острые боли, и тогда надо было немедленно промассировать только икры, для этого к ней в комнату посылался Кхокха. Я был этим крайне недоволен, о чем и сообщил Майтрейи, но она посмотрела на меня с недоумением и отметила, что не меня же ей звать для такой неприятной процедуры, это дело массажистов, которым платят. Но Кхокха-то был не массажист, он был молодой парень, который умел ее рассмешить, а при мысли о том, что он касается ее тела своими черными похотливыми руками, меня начинало трясти. Раз вечером Майтрейи покричала с балкона, выходящего во двор, Кхокху — у нее свело судорогой ногу, потому что два дня подряд шел дождь, но того не было дома, и она позвала шофера. Я просто потерял рассудок и чуть было не пошел к ней наверх, устраивать скандал, но устыдился своих грязных мыслей, а вот выйти в сад и подсматривать оттуда за ней не постеснялся. Она не зажгла света, хотя могла бы это сделать, из приличия и из любви ко мне. Каких только мерзких сцен я не навоображал себе, вспоминая романы, где женщины из общества берут в любовники шоферов, перебирая в уме самые разные свидетельства женской неверности и лживости — их непременного свойства. Мне припомнились те или иные мелочи, на которые я в свое время не обратил внимания. Один раз Манту, зайдя к Майтрейи, запер дверь на засов, и я, сидя у себя внизу, слышал шум борьбы, а когда они вышли, Манту был весь красный и растерянный, а Майтрейи — бледная, со сбившейся прической. (Потом она мне сказала, что Манту ей мерзок, что он к ней приставал и получил оплеуху, что она пожаловалась отцу,

но, с тех пор как он заболел, без Манту в доме не обойтись, и поэтому его не выгоняют.) Еще я вспомнил, что Майтрейи рассказывала мне про другого своего дядюшку, тоже со стороны отца, который однажды попытался обнять ее и залезть за пазуху, но тогда господин Сен вмешался решительно, и этот человек до сих пор жалеет о своем поступке, потому что его выгнали со службы и ему пришлось вернуться в деревню, где он влачит существование самое плачевное. Майтрейи часто сетовала при мне на то, что она вызывает в мужчинах, даже в кровных родственниках, вожделение, тогда как ей хотелось бы вселять в них совсем другие чувства. Чего только я не перебрал в уме: Кхокха, уединившийся с Майтрейи на веранде, в темноте, а потом ее появление за столом, в непонятном волнении, и его еще более красноречивое отсутствие. Каждая мелочь меня мучила, мне казалось, что все хотят Майтрейи и она всем подает надежду. Зачем шоферу шпионить за нами, если он ее не хочет, если не надеется в один прекрасный день рискнуть всем и войти в ее комнату, пусть даже ему придется тут же бежать из дома, не получив расчета? Чем только я себя не распалял, чем не терзал, прокручивая в голове кадры с самыми мучительными подробностями. Я был неспособен вырваться из этого болезненного состояния, видение Майтрейи в объятиях другого преследовало меня неотрывно.

Наконец однажды я вернулся домой совершенно без сил, во время ужина тщательно оберегал от прикосновений Майтрейи свои ноги, спрятав их под стул, а на ночь заперся на засов, полный решимости не впускать Майтрейи, что бы там ни было. Я еще не заснул, когда она пришла и попробовала дверь, но я лежал тихо, как будто не слышал. Она постучала, потом стала звать меня все громче и громче, потом — трясти дверь. Боясь, что ее услышат, я открыл.

— Почему ты меня не впускаешь? — взорвалась Майтрейи, плача и дрожа. — Ты меня больше не хочешь?

Я запер за ней дверь, мы сели рядом на кровать, и я, избегая объятий, рассказал ей, как мог, о своих переживаниях. Она сама обвила меня рукой за плечи и припала к моей щеке губами. А я все говорил, невосприимчивый к теплу ее тела, выкладывая все, что чувствовал в те минуты, когда чужой мужчина массировал ей икры. Я старался внушить ей, что недостойно вот так подставлять себя чужим рукам.

— Лучше бы он меня изнасиловал, — вдруг сказала Майтрейи и расплакалась.

— Да, с такой сексуальной и безголовой особой это проделать было бы нетрудно, — ответил я, кипя яростью. — То-то тебе всегда нравились всякие невероятные совокупления, всякое варварство, я знаю, кто задурил тебе голову — эта старая бестия, духовный учитель, видите ли…

Я вскочил и забегал по комнате, бросая ей в лицо гадости и оскорбляя ее каждым словом. Как я ненавидел ее в эти минуты, и не потому, что она мне изменила, а потому, что заставила слепо поверить в ее любовь и чистоту. В каком положении я очутился: отдал ей всего себя без остатка, раскрылся перед ней, перенял ее пристрастия и желания — и теперь оказывается, что я отрекся от самого себя ради девицы, которая обманывает меня с первым встречным. Не то чтобы у меня были доказательства, но я увлекся собственными речами и в конце концов уверовал в ее измену. Будь она белой женщиной, мне было бы труднее убедить себя в этом: хотя я знал их ветреную и взбалмошную природу, но я знал и об их высоком о себе мнении, а также о некоторой рассудочности, не позволяющей отдаваться кому попало. Майтрейи же так и осталась для меня, по сути дела, непредсказуемой, и мне казалось в тот момент, что такая, как она есть, дикарка, живущая инстинктом, она спокойно могла бы совершить необдуманный поступок, не сознавая его чудовищности. Бешеная ревность как-то разом выбила из моей головы весь опыт последних семи-восьми месяцев, я не помнил о чистоте Майтрейи, которую она блюла почти суеверно, и видел во всем один обман. Я убедился тогда, что нет ничего прочного в душе, что самое испытанное постоянство может улетучиться от единого неверного жеста, что самое достоверное обладание ничего не доказывает, потому что и достоверность можно тиражировать с одним, с другим, с третьим, что, наконец, все хорошее забывается с легкостью, раз счастье и доверие, накопленные за месяцы любви, за столько проведенных вместе ночей, рассеялись как дым, а осталось одно только мужское тщеславие и ярость на себя самого.

Майтрейи слушала с выражением страдания, которое злило меня еще больше. Она до крови искусала губы и смотрела на меня такими большими глазами, как будто сомневалась, не снится ли ей эта сцена.

— Но что же я такого сказала, что я сказала? — не выдержала она наконец.

— Ты сказала про изнасилование, — напомнил я, стараясь сдержаться.

— Отчего же ты не понимаешь? — жалобно начала она сквозь слезы. — Я тебе так противна, что ты даже не хочешь понять. Ты совсем обо мне не думаешь. Разве ты не говорил, что, если бы меня обесчестили и выгнали из дому, ты все равно бы меня любил? Вот я и мечтала, чтобы так случилось. Тогда бы между нами ничего больше не стояло. Пойми, Аллан, нам не дадут пожениться, и мы так и умрем во грехе. Даже если ты поменяешь веру, они не согласятся. Они другого хотят, я же тебе говорила, помнишь? Но если бы кто-нибудь меня обесчестил, им пришлось бы выгнать меня на улицу — иначе грех падет на весь дом. И тогда я могла бы стать твоей женой, перешла бы в христианство — ведь для христиан это не грех, если тебя берут силой, — и ты все равно любил бы меня. Разве ты не будешь любить меня вечно? Скажи, Аллан, скажи. Ты знаешь, что меня ждет, если ты меня разлюбишь!

Я был, признаюсь, взволнован и как будто очнулся от кошмара; ярость моя прошла, и я очень жалел о вырвавшихся словах. Мне хотелось просить у нее прощенья, но я не знал как, все символы примирения, которые я прокручивал в голове, казались мне фальшивыми (упасть к ее ногам? я буду нелеп и смешон; пожать руку, сначала просто по-дружески, потом нежнее — и поцеловать? Но это так заезженно, и мне казалось, что Майтрейи сразу же разгадает всю натужность моих попыток). Я так и не решил, что делать, и только смотрел на нее, стараясь вложить во взгляд все свои сожаления, всю любовь. Но глаза Майтрейи застали слезы, и, не заметив моего раскаяния, она сама рухнула мне в ноги и обняла мои колени, допытываясь, не надоела ли мне ее любовь или, может быть, меня пугает грех… Сейчас, когда я пишу, вопросы кажутся мне зряшными, но тогда они жгли меня, как угли из печи. Я поднял ее и дал понять своим объятием и словами, которые вдруг нашлись, что я все так же люблю ее и не пресытился и что мне бесконечно стыдно за свою слепоту и недогадливость. О браке мы больше не говорили, я начал понимать, что дело обстоит не так просто, как я себе это представлял,

и предпочел лучше обходить эту тему, нежели вызывать призрак возможной разлуки с Майтрейи.

Вдруг нам обоим показалось, что мы слышим шаги под окном, мы замолчали и погасили свет. Шаги направились к веранде, потом раздался стук в дверь. Мы затаили дыхание. В дверь больше не стучали, зато через несколько минут постучали в окно, закрытое ставнями. Тогда я понял, что это Кхокха, который только что вернулся из кинематографа, но откликнулся не сразу, дав Майтрейи время взбежать наверх, к себе. Кхокха спросил меня:

— Ты с кем-то разговаривал?

— Нет, — коротко отрезал я, закрывая дверь за Майтрейи.

И тут сверху — мне показалось, что из коридора, ведущего к комнате Майтрейи, — раздался голос госпожи Сен.

XII

Я решил, что мы погибли, и всю ночь проворочался, не смыкая глаз. На рассвете Майтрейи — момента я даже не заметил — сунула мне под дверь записочку: *«Мама ничего не знает. Не беспокойся. Не выдавай себя. Майтрейи»*. Испытывая чувства преступника, которому объявили о помиловании или хотя бы об отсрочке приговора, я ответил длинным письмом, убеждая Майтрейи повременить с нашими свиданиями, пока весь дом на ногах из-за инженера и Чабу. Теперь я уже не знал, чем кончится наш роман. Майтрейи не раз подбиралась к госпоже Сен, намекая, что я влюблен в одну ее подругу (мы выбрали ей имя Анасуйя, в память о совместном чтении «Шакунталы») и не знаю, как начать разговор о женитьбе; но госпожа Сен отвечала, что подобные супружества, построенные на самонадеянности чувств, до добра не доводят, потому что одна страсть, без опоры на традиции, не даст прочного счастья, а традиция — это благословение семьи, людей, которые знают, что брачные узы — бремя потяжелее, чем представляем это себе мы, молодые, и надевают их вовсе не для того, чтобы «срывать цветы удовольствия» или предаваться эфемерному, обманчивому влечению тел. Я узнавал себя в суждениях госпожи Сен — что было во мне, кроме страсти? И разве мы думали о чем-нибудь, кроме нашей любви? А госпожа Сен, рассуждая о моих вымышленных чувствах к Анасуйе, внушала Майтрейи, что супружество основывается не на любви, а на самопожертвовании, на самоотречении, на полной, безусловной покорности судьбе. Такой концепции я не мог принять, несмотря на всю свою тягу к индуизму. Зато я увидел, сколько препятствий возникнет в тот день, когда я решусь попросить Майтрейи в жены, и стал даже подумывать, не вернее ли будет прибегнуть к ее, пусть дикому, решению: если кто-то ее обесчестит, родители, поставленные перед фактом, будут вынуждены согласиться на наш брак, поскольку никто другой ее, такую, не возьмет. Только теперь я понимаю, как я любил Майтрейи, если мне казались возможными столь фантастические варианты.

Время текло, а мы, на свой страх и риск, продолжали наши свидания, пока одно событие, о котором я и собираюсь рассказать, не

прервало эту череду отчаянных и беспамятных дней. Если бы не дневник, я бы ничего не мог припомнить из происшествий той поры, так захватывала меня сиюминутность, не оставляя ни малейшей возможности подумать, перебрать в уме разрозненные факты, связать их; и сейчас, следуя нити своих тогдашних кратких записей, я как будто расшифровываю чью-то чужую жизнь — моя память не сохранила подробностей этой жгучей агонии.

Переломным событием стал день рождения Майтрейи, десятое сентября. Инженер решил отпраздновать его с размахом, хотя сам был все еще болен, а Чабу — почти без сознания. Майтрейи исполнялось семнадцать лет — в Индии этому возрастному рубежу придают особый смысл. Кроме того, сборничек ее стихотворений, «Уддхитта», вышедший на днях, бенгальская пресса оценила как настоящее открытие, и господин Сен задумал пригласить всю литературную и художественную элиту Калькутты, устроив что-то вроде турнира искусств. Ожидались все сливки бенгальского общества, кроме Тагора, который еще не вернулся из Европы. Должны были прийти Чаттерджи, автор «Шрикантхи», и Удай Шанкар, танцор, король красоты и ритма, к которому я страшно ревновал, потому что на одном его выступлении, в августе, Майтрейи совершенно забыла про меня и, опершись о барьер ложи, не спускала с него порабощенных глаз, а потом несколько дней только им и бредила и мечтала с ним познакомиться, чтобы он «посвятил ее в тайну танца», как она выражалась. Пригласили и редакцию журнала «Прабуддха Бхарата», где у Майтрейи было много поклонников — как тот весьма оригинальный поэт Ачинтия, о котором много говорили, поскольку он раздразнил всю плеяду почтенных мэтров Бенгала, осмелившись выступить с романом по типу джойсовского «Улисса».

Меня несколько смутили приготовления, которые велись к десятому сентября. Я знал, что в этот день Майтрейи будет принадлежать мне несравненно меньше, чем когда бы то ни было, потому что она столь же честолюбива, сколь любезна, и постарается очаровать всех гостей. Я купил ей в подарок несколько книг и собирался вручить их утром того самого дня. Ночью она приходила ко мне только на полчаса, так было много дел по дому. Лестницу устлали и увешали старинными коврами, повсюду расставили цветы в вазах, освободили для приема две комнаты наверху, принеся туда маты и

шали и устроив как бы два бесконечной длины дивана, на которые надо было забираться, сняв обувь; все женщины работали не покладая рук, а Майтрейи, задумав украсить ковры вдоль лестницы еще и картинами, уронила прекрасный портрет Тагора, да еще с посвящением ей, и страшно огорчилась, восприняв это как дурной знак, тем более что рама раскололась на куски, а холст лопнул.

Рано утром в библиотеке я подарил ей книжки с невинными дарственными надписями и, обняв, произнес несколько банальностей насчет безоблачной жизни и счастья, для которого она рождена. При этом у меня на глаза навернулись слезы, а Майтрейи казалась несколько рассеянной и высвободилась из моих рук гораздо легче, чем обычно.

После полудня для меня начался большой маскарад. Я облачился в бенгальский костюм из шелка и должен был занимать гостей, всех этих знаменитостей, как настоящий хозяин, поскольку инженер не вставал с кресла, составлявшего единственный предмет меблировки в комнате; госпожа Сен со своими помощницами занялась дамами, которые поместились в отдельной комнате, а Манту остался внизу, встречать вновь прибывающих. Из женщин только Майтрейи входила к нам, то чтобы раздарить книжечки своих стихотворений, то чтобы угостить сластями. Я видел, какие взгляды на нее бросают (она в самом деле была восхитительна: бледная и кроткая, в голубом атласном сари, с обнаженными руками), как откровенно едят ее глазами, и это зрелище было для меня невыносимым, потому что никто здесь не знал, что Майтрейи — моя, и только моя, и они могли иметь на нее виды. Когда пришел красавец Удай Шанкар, вблизи, правда, тусклее, чем на сцене, но тем не менее несравненный по обаянию, потому что при стройном мужественном теле он обладал редкой даже для женщин пластикой жеста и медовостью взгляда, которые, однако, не смущали, а необыкновенно располагали к себе, Майтрейи, зардевшись, пригласила его на балкон, чтобы вызволить из тесного круга почитателей, не дающих ему проглотить ни кусочка. Я старался не выдать своего волнения: в этом незаурядном танцоре я чувствовал не только мужское обаяние, но и магию, от которой мог потерять голову весь город, не только моя бедная Майтрейи. Я знал, что перед ним не устоит ни одна женщина, и если и завидовал ему, то без ненависти, я был бы даже рад обнаружить во взглядах Майтрейи,

устремленных на него, предпочтение, это бы меня освободило. Я точно знал, что в тот миг, когда это предпочтение станет явным, моя любовь рухнет. Что ж, раз Майтрейи не может противопоставить магии Удая Шанкара магию нашей любви, остается только бросить ее, как самую последнюю бабенку.

Выйдя в коридор, я увидел, как Майтрейи и Удай сидят рядом и она робко спрашивает его о чем-то, мне не слышном. Я даже удивился, как спокойно взглянул на эту сцену. Через несколько минут мы с Майтрейи столкнулись на лестнице, и она сказала, украдкой пожимая мне руку:

— Я пыталась добиться от Шанкара, как он понимает танец. Напрасная попытка. Такой болван! Одни книжные выражения, ничего своего. Лучше бы я его не приглашала. На сцене — как бог, а по речам — ремесленник… Почему танец не прибавил ему ума?

Я не знал, как благодарить ее за эти несколько оброненных вскользь слов. Она проводила меня до библиотеки и шепнула:

— Люблю. Люблю все сильней и сильней.

Я хотел ответить объятием, но тут сверху раздались встревоженные женские голоса, кто-то звал Майтрейи. Мы бросились туда оба, предчувствуя недоброе. Оказалось, что Чабу пыталась спрыгнуть с балкона на улицу и ее еле удержали. Бедную девочку все бросили в этот суматошный день, сиделка зазевалась, и тогда она надела свое самое красивое сари (обычно она ходила в коротких европейских платьицах, сари очень ее взрослило) и вышла из комнаты. Но, увидев так много народу, испугалась и, выбежав на балкон, где только что был Шанкар, стала по своему обыкновению созерцать «путь» и петь. Ее заметили две гостьи в ту минуту, когда она пыталась перелезть через перила балкона, и успели схватить. Она билась в их руках, гости столпились в коридоре, инженер второй раз на моей памяти вышел из себя и отругал жену. Мне пришлось взять Чабу на руки, как маленькую, и отнести к ней в комнату, потому что меня она сразу узнала и бросилась ко мне, плача и крича:

— Аллан-дада, Аллан-дада!

Когда я уложил ее в постель, она спросила, насупясь:

— Они хотят продать Майтрейи?

* * *

На другой день все домашние чувствовали себя разбитыми после этого праздника, обошедшегося в пятьсот рупий и стоившего столько труда. Было много речей, стол, накрытый на террасе, ломился от угощений, а Майтрейи получила множество подарков, по большей части книг. С утра принесли огромный букет, из которого торчало письмо. Когда Майтрейи увидела почерк на конверте, она вздрогнула и быстро пробежала письмо глазами. Заслышав чьи-то шаги, сунула письмо мне.

— Запри его в стол и смотри, чтобы никто не взял. Я потом заберу, — сказала она, покраснев.

Я, признаюсь, ничего не понял, но и беспокойства не испытал: если бы что-то было нечисто, она не дала бы мне на хранение письмо — ведь я мог разобрать бенгальский текст сам или с помощью кого-либо из знакомых индийцев. Письмо и по сей день хранится у меня, хотя я так и не дерзнул его прочесть, предпочитая гадать, что за поклонник прислал Майтрейи цветы и почему она солгала домашним, сказав, что букет от ее школьной подруги, которая не смогла прийти сама.

Потом все потекло по-прежнему, но продолжалось недолго. Всего неделю спустя после дня рождения Майтрейи случилось то, из-за чего я и начал эти записки. Надо бы рассказать поподробнее о наших последних днях, но я почти ничего не запомнил, а дневник — поскольку близких перемен не предвиделось — сохранил разве что остов той жизни, которую я не могу сейчас должным образом воссоздать. Позже, особенно когда записывал эту повесть, я думал над своей судьбой, не давшей мне дара угадывать будущее, видеть дальше своего носа. Кто бы мог предположить, что нечаянно-негаданно над нашими головами грянет гром…

Каждый вечер мы ездили на Озера и иногда брали с собой Чабу. Не кто иной, как инженер, убедил нас, что и я, и Майтрейи должны отдохнуть от домашних хлопот и тревог. В самом деле, Майтрейи заметно похудела, а Чабу, которая несколько успокоилась после той вспышки на дне рождения сестры, тоже нуждалась в свежем воздухе и прогулках. Мы уезжали, когда начинало смеркаться, а возвращались часов в девять-десять. Чабу почти все время молчала, сидя на скамейке или на траве и глядя на воду, или тихо напевала и плакала. Мы сидели

с ней рядом, переговаривались, строили планы, встречаясь руками. Майтрейи часто повторяла как одержимая:

— Когда-нибудь ты заберешь меня отсюда, и я тоже увижу мир, ты покажешь мне мир…

Она стала серьезно подумывать о нашем бегстве, тем более что у меня были сбережения в банке — из своих ежемесячных четырехсот рупий я почти ничего не тратил с тех пор, как поселился в Бхованипоре.

Раз вечером (это было 16 сентября) Чабу стало плохо, когда она смотрела на воду, и я перенес ее на скамейку, а мы с Майтрейи сели рядом, гладили ее по голове, говорили ласковые слова, пытались рассмешить: Чабу последнее время смеялась по любому поводу, и доктора говорили, что это ей на пользу.

— Почему ты не любишь дада? — вдруг спросила она Майтрейи.

Мы заулыбались, потому что Чабу часто говорила пустое, и мы ее не боялись.

— С чего ты взяла? Очень даже люблю, — отвечала Майтрейи.

— Тогда поцелуй его, — попросила Чабу.

Майтрейи рассмеялась и велела ей не говорить глупостей.

— Любовь — не глупости, — очень серьезно возразила Чабу. — Поцелуй же его. Вот смотри, как я.

И в самом деле она привстала со скамьи и поцеловала меня в щеку. Тогда Майтрейи, смеясь, тоже чмокнула меня, в другую.

— Теперь ты довольна?

— Нет, надо было в губы, — ответила Чабу.

— Ну, будет, приди в себя, — покраснев, сказала Майтрейи.

Но я был счастлив, что моя младшая сестренка (а я и правда очень любил Чабу) почувствовала нашу любовь и требует, чтобы Майтрейи меня поцеловала. Поскольку она отнекивалась, я, тихонько просунув руку под покрывало, сжал ладонью ее левую грудь, чтобы услышать сердце и в то же время настроить на поцелуй (это была проверенная ласка, от которой Майтрейи размякала мгновенно). Но Чабу, настаивая, чтобы мы поцеловались, тоже обняла Майтрейи и ненароком наткнулась на мою руку. Хотя я мгновенно убрал ее, Чабу заметила.

— Вот видишь, дада держит руку у тебя на груди, — сказала она с торжеством.

— Не выдумывай, — возразила Майтрейи, — это была моя рука.

— Так я и поверила, там же было кольцо!

Это уточнение мне не понравилось, но я не забеспокоился, потому что вряд ли кто-нибудь придал бы значение болтовне Чабу. Целовать меня в губы Майтрейи отказалась наотрез, и скоро мы вернулись в машину, час был уже поздний. До дому я успел совершенно забыть об этом происшествии.

Ночью Майтрейи не пришла. Из предосторожности, как она призналась мне утром. Что я делал до вечера, не помню. К шести я облачился для прогулки в свой бенгальский костюм, но за мной никто не зашел. Несколько занервничав, я спросил шофера, едем мы на Озера или нет, и он ответил (дерзко, как мне показалось), что получил распоряжение поставить машину в гараж. В коридоре я встретил Лилу, сообщившую мне, что госпожа Сен больше не пускает на Озера ни Майтрейи, ни Чабу. Моя тревога усилилась, раздражало, что от меня скрывают правду, которую мне нужно знать незамедлительно. Я попытался разыскать Майтрейи, но ее нигде не было, и пришлось, в самых мрачных мыслях, вернуться к себе. Странное дело, я ничего не боялся, я только хотел знать, что стряслось, почему госпожа Сен распорядилась отправить машину в гараж и почему мне нельзя увидеть Майтрейи.

К ужину меня пригласил слуга (обычно звал кто-то из домашних). За столом сидели только госпожа Сен и Майтрейи. Они не разговаривали. Я старался держаться как ни в чем не бывало, и, кажется, мне это удавалось; госпожа Сен искала моего взгляда, а я его не прятал. Она как будто пыталась увидеть меня насквозь, лицо ее было сосредоточенным, в глазах — укоризна, губы, как всегда, красные от бетеля, кривились в гримасе сарказма. Она подавала мне блюда молча и убийственно вежливо, потом снова, подперши ладонью щеку, смотрела на меня в упор, будто спрашивала себя, как это мне удавалось обманывать ее столько времени. В ее враждебной и иронической позе я читал один и тот же вопрос: «Как ты мог?» Я не знал, что известно госпоже Сен, но ее немой крик чувствовал и пытался держаться как можно непринужденнее: смотрел в глаза, спрашивал, как Сегодня господин Сен, почему больше никто не вышел к ужину и прочее. Между тем Майтрейи говорила со мной на другом языке. Всю свою страсть и весь свой страх она вложила в прикосновение, стараясь ласкать меня нежнее обычного: медленно

скользила теплой ступней по моей голени, как будто хотела утешить и укрепить меня в опасности, которую я угадывал, но не называл еще точно. Потом отчаянно притиснула свою голень к моей, как бы в прощальном объятии, как бы передавая мне весь жар любви и прося не забыть ее, когда мы будем в разлуке, далеко друг от друга.

Кто-то позвал госпожу Сен наверх, и, только мы остались одни, Майтрейи быстро проговорила, кусая губы:

— Чабу все рассказала маме, но я отпираюсь. Не бойся, я твоя. Если тебя будут спрашивать, ни в чем не признавайся, а то, ты понимаешь…

Она чуть не расплакалась и хотела взять меня за руку, но госпожа Сен уже спускалась по лестнице, и она успела только шепнуть:

— Завтра рано утром в библиотеке…

Это были последние слова, которые я услышал от Майтрейи. Госпожа Сен увела ее, а я пошел к себе, совершенно разбитый, потерянный, не зная, чего мне ждать от завтрашнего дня.

Заснуть я не мог, курил трубку за трубкой, сидя в своем широком бамбуковом кресле и дожидаясь рассвета. Отбивали ночное время часы, и при каждом ударе я вспоминал приходы Майтрейи в эту комнату и не мог представить себе, что она больше не придет, не сбросит одежды, как только я закрою окно, не обнимет меня, вся в слезах. Неужели нам было отпущено всего две-три недели любви — и ее заберут у меня? Сидя в темноте, я видел ее рядом, повсюду, излучающую любовь, я забыл обо всех муках, которые она мне причиняла, обо всех сомнениях и ощущал только мощный прилив любви, какой я никогда не баловал Майтрейи. Я ждал рассвета, чтобы рассказать ей, как простая разлука на одну ночь и угроза большой разлуки проявили во мне настоящее чувство. Потому что только теперь я понял, как она мне дорога, теперь, когда боялся ее потерять. При мысли, что я могу ее потерять, меня то одолевали слезы, то душила ярость, и, чувствуя, как мутится рассудок, я думал, что не переживу разлуки. Если я любил ее, когда она была моей, когда нам никто не мешал быть вместе, то теперь, когда нам грозила неведомая опасность, я просто задыхался от любви, я сходил с ума, мне казалось, что я не дождусь часа свидания, часа объятий.

Несколько раз за ночь я выскальзывал из дому посмотреть на окна и неизменно заставал свет в инженеровой комнате, откуда слышались

голоса, а порой — женский стон, но чей, было не разобрать. Я возвращался к себе в ужасном волнении, снова усаживался в кресло все с той же мыслью — что бы значили слова Майтрейи: «Чабу все сказала…» Что могла сказать Чабу в своем безумии? Что она могла видеть, что понимала? Уж не застала ли она как-нибудь Майтрейи ночью, когда та выходила из своей или из моей комнаты?

Потом выяснилось, что признания Чабу были куда менее серьезными, но и этого оказалось более чем достаточно. Госпожа Сен наутро после нашей прогулки мыла ей голову, а Чабу плакала. На вопрос, почему она плачет, девочка сказала, что Майтрейи все любят, а ее — никто. К Майтрейи вон сколько народу пришло на день рождения, и все с подарками. А больше всех ее любит Аллан-дада. «Откуда ты знаешь?» — спросила госпожа Сен, просто так. «Аллан-дада ее целует и гладит по груди, а меня никто не целует». И она так горько расплакалась, что госпожа Сен стала ее расспрашивать, и Чабу рассказала ей все, что видела: как на Озерах мы сидели рядом, взявшись за руки, смеялись и целовались. (А я-то думал, что девочка ничего не замечает!) Госпожа Сен немедленно позвала Майтрейи и спросила, правда ли то, что говорит Чабу. Потом велела шоферу отправить машину в гараж, а сама повела Майтрейи наверх, на террасу, заставила ее поклясться предками и всеми святыми и учинила настоящий допрос. Майтрейи все отрицала, сказала только, что несколько раз действительно поцеловала меня, как брата, а я поцеловал ее в лоб, но не более того. Она на коленях просила мать не говорить ничего отцу, потому что у меня тогда будут неприятности, а я ни в чем не виноват. Раз так надо, она больше не будет со мной никогда видеться, ведь если кто и грешил, так это она. (На самом деле она рассчитывала убежать со мной и боялась только, что отец посадит ее под замок или спешно выдаст замуж и мы не успеем повидаться и договориться о побеге.) В ту ночь ее и в самом деле заперли в комнате матери, а госпожа Сен рассказала все мужу, и они чуть ли не до утра просовещались, что делать, чтобы не узнали соседи и на семью не пал позор…

Но эти подробности я узнал только на другой день от Кхокхи, а в ту ночь чего только не передумал и склонялся к тому, что Чабу все же застала сестру, возвращающуюся от меня на рассвете, и наябедничала госпоже Сен. Около четырех утра я пошел в библиотеку ждать

Майтрейи и просидел там, прячась за книжными полками, пока окончательно не развиднелось, но она не пришла и не прислала с записочкой ни Лилу, ни сестру Кхокхи. В семь вниз спустилась госпожа Сен, готовить чай, и мне пришлось со всякими предосторожностями прокрасться к себе в комнату.

Я сидел и ждал приглашения к чаю, когда ко мне вошел инженер, он был еще очень слаб и нетвердо держался на ногах, а черные очки хорошо скрывали его глаза.

— Дорогой Аллан, — начал он, заметно волнуясь, но вполне дружелюбно, — я решился на операцию, которую мне уже давно предлагают доктора. Мне придется пробыть в санатории месяца два-три, и я собираюсь на это время отправить семью в Миднапур, к родным. А поскольку и ты тоже, вероятно, устал, хорошо бы тебе отдохнуть где-нибудь в горах.

— Когда мне уехать? — спросил я со спокойствием, удивившим меня самого.

Впрочем, мои действия в тот день были безотчетными, я еще не мог охватить мыслью происшедшего.

— Сегодня же, потому что я уезжаю в санаторий после обеда, — сказал инженер, наблюдая за мной под прикрытием черных стекол.

— Но… мне некуда, надо сначала подыскать квартиру, перевезти вещи…

Я еще нашел в себе силы возразить, хотя как будто всю кровь выпустили из меня, и я только беспомощно указал рукой на свой скарб: кровать, кресло, книжные полки, два сундука, письменный стол. Инженер ответил с вежливой улыбкой:

— Такой энергичный молодой человек всегда найдет выход из затруднительного положения. Если ты отправишься прямо сейчас, то до часу подыщешь себе квартиру. Кхокха возьмет грузовик и перевезет твои вещи. Может быть, пока, до отъезда в горы, ты поживешь у кого-то из приятелей, а потом уже устроишься как следует.

Меня охватила дрожь, когда он поднялся, считая разговор оконченным. Я машинально потянулся к вешалке за каскеткой, чтобы уйти тут же, но госпожа Сен, стоявшая за дверью и все слышавшая, вошла и с вежливой улыбкой сказала:

— Я не отпущу тебя без чая.

— Не могу, — ответил я погасшим голосом.

— А если я попрошу? — настаивала госпожа Сен. — Чай готов.

— К чему все это теперь? — еле выговорил я, чувствуя, что вот-вот рухну без сознания, ведь я должен был уйти, не повидавшись с Майтрейи.

Мои хозяева вышли, и я разрыдался. Я рвал на себе волосы и кусал пальцы, потом замер в кресле, захлебнувшись отчаянием, имя которому дать не мог, это была не любовь и не горе, а чувство полного краха, как будто я оказался один на кладбище у свежей могилы, и рядом — никого, кто мог бы меня пожалеть. Я был расколот на куски, все тело стало одной сплошной раной, а душа рассыпалась, и мне было не собрать ни воли, ни сил, чтобы хоть как-то очнуться. Вошла Лилу. тоже заплаканная, и быстро сунула мне клочок бумаги. *«Мне не дают повидаться с тобой. Не считай, что жизнь разбита, не падай духом. Уезжай в большой мир и яви всем свою чистоту. Будь человеком. Ты скоро обо мне услышишь. Майтрейи».* Я еле разобрал, среди клякс, ее торопливый почерк, ее импровизированный английский. Записку пришлось смять в ладони, потому что госпожа Сен, в сопровождении слуги, внесла чай.

— Не могу, мне кусок не идет в горло, — сказал я, не сдерживая слез.

— Прошу тебя, выпей чашку чаю, — мягко сказала госпожа Сен.

Мне показалось, что я слышу в ее голосе нотки жалости и сострадания, и, вспомнив, как она была добра ко мне, как любила и звала сыном, как хотела видеть меня братом двух своих дочерей, не смог удержаться и, упав ниц, обнял ее ноги.

— Прости меня, мама, не дай мне уйти отсюда! — приговаривал я сквозь рыдания. — Прости, прости меня!

Лилу плакала, прислонясь к косяку. Госпожа Сен не шелохнулась, она стояла очень прямо и улыбалась все то время, что я бился у ее ног. Я почувствовал этот лед и поднялся, всхлипывая и отирая глаза.

— Выпей чаю, — сказала она.

Я взял было чашку, но рыдания снова меня одолели, и я закрыл лицо рукавом. Лилу не выдержала и с плачем убежала. Госпожа Сен по-прежнему стояла у двери, глядя на меня с той же искусственной, несколько брезгливой улыбкой и приказывая:

— Пей!

Как во сне, я очистил банан и стал прихлебывать из чашки, понемногу успокаиваясь. Госпожа Сен, дождавшись, пока я допью остывший чай, кликнула слугу забрать поднос.

— Можно перед уходом попрощаться с детьми? — умоляюще попросил я.

Вошедший в эту минуту господин Сен ответил:

— Майтрейи нездоровится, она не может сейчас выйти. — И, обернувшись к жене, распорядился: — Позови Чабу.

Госпожа Сен пошла за девочкой, а инженер протянул мне запечатанный конверт.

— Это ты прочтешь только после того, как покинешь мой дом. И если хочешь отблагодарить меня за добро, которое ты от меня видел здесь, в Индии, выполни то, о чем я тебя там прошу.

Он откланялся, не дав мне времени вымолвить ни слова. Ослабевшей рукой я сунул конверт в карман. Когда вошла Чабу, я снова заплакал и, обхватив ее обеими руками, простонал:

— Что ты наделала, Чабу, что ты наделала!

Бедная девочка ничего не понимала, но, видя, что я плачу, тоже расплакалась и стала целовать меня, а я обнимал ее хрупкое тельце и качал его, как в люльке, приговаривая одно:

— Что ты наделала, Чабу!

— Что я наделала? — спросила она наконец. — Почему ты плачешь, дада? Почему?

Я разжал руки, чтобы отереть слезы. Впрочем, родители уже стояли в дверях с ледяными лицами, как бы говоря: «Свидание окончено. Пора!»

Еще раз расцеловав Чабу в обе щеки, я взял с вешалки каскетку, встал на колени перед четой Сен и коснулся ладонями правой ноги — его и ее — в самом почтительном приветствии, которое знал.

— Good bye, Аллан, — сказал инженер, протягивая руку.

Но я сделал вид, что не замечаю его руки, и вышел в коридор. Чабу бежала за мной и плача, и смеясь.

— Куда ты, дада? Куда идет Аллан-дада? — спрашивала она.

— Дада заболел, он едет лечиться, — шепотом ответила госпожа Сен по-бенгальски, удерживая ее, чтобы она не выбежала за мной на улицу.

Спустившись по ступеням с веранды, я обернулся на балкон с глициниями и на секунду увидел Майтрейи, услышал свое имя — испуганным коротким воплем, — и Майтрейи рухнула на пол балкона как подкошенная. Я бросился было обратно, но в коридоре путь мне преградил инженер.

— Ты что-то забыл, Аллан? — спросил он холодно.

— Нет, сэр, я ничего не забыл…

Я повернулся и вышел. Остановил первое же такси и назвал адрес Гарольда. Еще раз попытался окинуть взглядом дом в Бхованипоре, но взгляд застилали слезы. Машина круто развернулась, и я больше ничего не увидел.

Я очнулся, когда машина направлялась уже к Парк-стрит. Вскрыл конверт, данный мне господином Сеном, и, вынув лист бумаги, где вместо обращения стояли, подчеркнутые, слова *«сугубо лично»,* с болью в сердце прочел:

> Вы мне чужой, и я Вас не знаю. Но если у Вас в жизни осталось хоть что-то святое, прошу Вас больше не входить в мой дом и не пытаться увидеть кого бы то ни было из членов моей семьи или писать к ним. Если у вас будет ко мне дело, ищите меня в офисе, а если когда-нибудь будете писать мне, то только так, как пишут друг другу незнакомые люди или подчиненный — начальнику. Прошу Вас не рассказывать никому об этой записке и порвать ее сразу по прочтении. Причины моего поступка Вам должны быть ясны, если в Вас еще не угасла последняя крупица разума. Вы должны сознавать всю меру Вашей неблагодарности и тяжесть оскорбления, которое мне нанесли.
>
> *Нарендра Сен*
>
> P. S. Прошу Вас не быть назойливым и не пытаться вступать в объяснения — при Вашей порочной натуре это будет только умножением лжи.

XIII

Гарольда я дома не застал, но хозяйка впустила меня в его комнату, и я сразу же бросился на постель, под вентилятор. Бедная госпожа Рибейро не знала, как ко мне подступиться, как начать расспросы.

— Со мной ничего не случилось, миссис Рибейро, — заверил я ее. — Но сегодня должны оперировать моего патрона, инженера Сена, и я этим очень обеспокоен.

Я не хотел вступать в объяснения, не хотел даже Гарольду докладывать, почему уехал из Бхованипора, давать пищу для сплетен. У меня не было сомнений, что Гарольд растреплет все своим подружкам и те бросятся утешать меня каким-нибудь сентиментальным вздором, выпивкой и сексом, а я невосприимчив к утешениям, тем более таким примитивным. Мне казалось, что я не имею права даже упоминать имя Майтрейи в их кругу. Я был так выбит из колеи, так полон боли, что не мог ни о чем думать, а только пытался сосредоточиться, интуитивно, всеми чувствами, на своей разлуке с Майтрейи. Но и того у меня не получалось, я вздрагивал в испуге всякий раз, как представлял последнюю сцену — ее обморок на балконе, и отодвигал это видение от себя. Не зная, на чем закрепиться мыслью, я перебирал самые пленительные минуты: жасминовая гирлянда, библиотека, Чандернагор, — но стоило мне чуть утишить боль, как надвигались финальные кадры, и снова и снова госпожа Сен за столом сверлила меня саркастическим взглядом, а господин Сен говорил: «Если ты хочешь отблагодарить меня за добро…» — и снова так же остро и душераздирающе налетала мысль о разлуке, я метался по постели, стонал, но не мог отогнать эти образы.

Госпожа Рибейро, отлучавшаяся по домашним делам, зашла спросить, что мне принести: чай, виски или пиво. Я отказался ото всего таким усталым взмахом руки, что старушка подошла поближе, всерьез обеспокоенная.

— Аллан, да вы больны.

— Не знаю, что со мной, — соврал я. — Переутомился, наверное, в последние месяцы, летом никуда не ездил, а тут еще эта болезнь

моего патрона. Надо бы поехать за город, хоть ненадолго… У вас нет ли свободной комнаты, миссис Рибейро?

Услышав такой вопрос, хозяйка вспыхнула от счастья и предложила посмотреть комнату рядом с Гарольдовой, потом спросила, почему я не остался в Бхованипоре, но, увидев, что расспросы мне неприятны, переменила тему: поинтересовалась, не жар ли у меня, и посоветовала в самом деле уехать из Калькутты недели на две, на три, куда-нибудь в горы. В Дарджилинг, например, или в Шиллонг, а может быть, на море? В Гопалпур, там такой воздух — прекрасно восстанавливает силы, и в отеле сейчас мало народу… Я слушал и на все кивал головой, только чтобы не отвечать, не возражать, не думать. Она немедленно принесла из холла номер «Стейтсмена» с адресами пансионов и стала их по очереди обсуждать, вспоминая, кто из знакомых и по какому случаю там побывал, а мне под звуки ее голоса казалось, что я сплю и вижу сон, настолько невероятным было мое присутствие здесь, да и сама моя жизнь, мое тело, вытянувшееся на постели, сигареты, которые я курил, в то время как мне положено было умереть, потому что меня разлучили с Майтрейи. Как такое может быть на свете? — думал я, даже не словами, эта мысль была просто разлита во мне как ощущение. Всего через час после изгнания из Бхованипора я слушаю болтовню какой-то старушки, которая не подозревает, что перед ней не человек, а обломок кораблекрушения. Все казалось мне иррациональным, невероятным, я понимал только, что свихнусь окончательно, если долго пробуду рядом с такими людьми, если не окажусь в одиночестве, чтобы забыть, забыться. Единственным спасением сейчас было уехать, хотя бы на время. Я решил, что уеду завтра же, все равно куда.

— Будьте добры, позвоните господину Сену, вот номер, — перебил я хозяйку. — И попросите прислать мои вещи сюда.

В другое время госпожу Рибейро оскорбила бы просьба позвонить «черному», но сейчас она была в таком хорошем настроении, что позвонила, и я слышал, как вежливо она разговаривала — вероятно, с Манту — и как благодарила его за любезность.

— Пойду приготовлю комнату, — сказала она затем.

Я был рад, что наконец-то останусь один, что не надо будет скрывать слезы. Вдруг мне пришло в голову, что, наверное, я поседел от горя. Спрыгнув с кровати, я подошел к зеркалу — и правда не узнал

себя: лицо бледное, вытянутое, осунувшееся, брови торчат клочками, а у рта залегли складки, совершенно меня переменившие, — суровые, волевые складки. Меня потрясло это выражение мужественной решимости и способности к действию — давно утраченных мною свойств. (С тех пор я не верю в физиономистику. Выражение лица, по-моему, не имеет ничего общего с душевным состоянием. Может быть, только глаза выдают человека.) Подавленный, я вернулся в лежачее положение и закурил очередную сигарету.

Когда пришел со службы Гарольд, он приветствовал меня троекратным «ура». От его любопытства я избавился, сославшись на головную боль и буквально в двух словах объяснив, зачем я здесь. Он тут же послал за выпивкой, поскольку был твердо убежден, что любая лихорадка и любое огорчение проходят от виски. Я выпил стакан, но хмель заставил меня только живее почувствовать пропасть, пролегшую между мною и Майтрейи. Я чуть не завыл волком. Зато прибывшему вскоре Кхокхе я обрадовался как родному. Вся любовь, вся Индия словно пришли вместе с ним. Он явился в довольно замызганном дхоти, босой, без сандалий, с растрескавшимися пятками, и белые жильцы смотрели на него брезгливо, с презрением, а он, гордый, что приехал ко мне, ходил взад и вперед, руководя носильщиками, которые перетаскивали вещи из грузовика. Я горел нетерпением услышать от него, что было в Бхованипоре после моего отъезда. Расплатившись с шофером и грузчиками, я повел его к себе в комнату, попросил госпожу Рибейро подать нам чаю и распечатал новую пачку сигарет. Гарольд просто зубами скрежетал, что я предпочел ему Кхокху, однако не посмел зайти к нам и помешать разговору — вероятно, догадался, что не все так просто в моем внезапном уходе от Сенов.

Кхокха принес мне экземпляр «Уддхипы», на котором Майтрейи надписала: *«Моему дорогому, моему дорогому. Майтрейи, Майтрейи».*

— И это все? — спросил я.

Кхокха посоветовал открыть на последней странице.

> *«Прощай, мое счастье, они не могут считать тебя виновным, я ничего не сказала, только что ты один раз поцеловал меня в лоб. Это я должна была сказать, она — мама, и она знала. Аллан, друг мой, дорогой мой, прощай! Майтрейи».*

Я молча сидел, уставясь глазами в книгу. Кхокха курил и тоже молчал, потом вдруг заговорил, как бы продолжая мысль:

— И не могло не открыться. Вы были слишком неосторожны. Кто вас только не видел, когда вы целовались в кресле. Шофер разболтал и Манту, и Лилу. Просто никому не хватало смелости вас предупредить…

А Кхокха, подумал я мельком, он тоже знает столько же, сколько другие, или все понял? Но теперь это было так неважно, что я не задержался на этой мысли.

— Чабу пришла в себя, — помолчав, продолжал Кхокха. — Увидела, как Майтрейи лежит в обмороке, и как будто очнулась ото сна. Целый день спрашивала про тебя: «Где дада?» Приставала к госпоже Сен, дергала ее за подол. А когда я сказал, что еду тебя навещать, вот, дала записочку…

На листке из школьной тетрадки Чабу вывела по-бенгальски своим самым старательным почерком: *«Дада, любимый, ты меня простишь когда-нибудь? Не знаю, зачем я проговорилась. Я думала, что никому от этого не будет плохо, ведь разве это плохо — любить друг друга? Майтрейи ужасно мучается. Ты можешь сделать, чтобы она не мучилась? На что же тогда любовь? Я хочу умереть».*

— Она плакала, когда писала записку, и велела передать ее тебе непременно, и чтобы ты завтра утром ей позвонил. У нее все прошло, она больше даже не похожа на помешанную.

Он ещё помолчал, потом тяжело вздохнул.

— Ты что, Кхокха?

— Ах, что говорить, когда я вижу, как ты убиваешься…

Театральность, с какой он это произнес, стараясь изобразить на лице особенное сострадание, подействовала на меня отталкивающе. Наверное, Кхокха почувствовал, что переборщил, и сменил тему:

— Когда я собирал твои вещи, Майтрейи сбежала вниз и стала их обнимать и причитать над ними. Пришлось ее силой увести назад. Господин Сен — такое чудовище — бил ее кулаками по лицу, до крови. Она потом упала без сознания у себя в комнате…

Я слушал со слезами на глазах, но боль не прибывала. Больнее, чем разлука, что еще могло быть для нас? Если бы меня избили, отхлестали по щекам, разве мне стало бы хуже? Я представлял себе ее

лицо в крови, но не раны ее разрывали мне сердце, а то, что она, такая, была непоправимо далеко.

— Они заперли ее наверху, отобрали почти всю одежду, чтобы она не смогла спуститься к тебе в комнату. Пока у нее был обморок, брызгали на нее водой, а потом, когда она очнулась, снова били, чтобы призналась. А она только кричала: «Я люблю его, я люблю его!» — это я сам слышал внизу. А сестра слышала, как она кричала: «Он не виноват, что вам от него надо? Он не виноват!»

Но мне-то они пока ничего не сделали, думал я, лучше бы это меня избили. Почему господину Сену не хватило смелости дать мне пощечину? Почему он, как трус, протянул мне руку: «Good bye, Аллан»?

— Пока ее не увели наверх, она успела мне сказать: «Я ему позвоню завтра». Но не знаю, получится у нее или нет. Уж очень строго за ней следит господин Сен. Они хотят поскорее выдать ее замуж, я сам слышал разговор.

Я окаменел. Кхокха заметил мой ужас и продолжал с азартом:

— Замуж за одного профессора из Хуглй, сразу как вернутся из Миднапура. Знаешь, что они едут в Миднапур?

— Знаю, — ответил я тупо.

— Чудовища, они все чудовища, — с жаром говорил Кхокха. — Ты их ненавидишь?

— Как я могу их ненавидеть? Это я причинил им зло. Они-то чем виноваты? Разве что тем, что взяли меня в дом?

— Они же хотели тебя усыновить, — напомнил Кхокха.

Я только улыбнулся. Как это было смешно и не нужно сейчас — все, что меня ожидало, если бы я был не я, — все то счастье, которое мне причиталось, если бы… Какой смысл сейчас гадать об этом. Я был один, совсем один, и невыносимее всего жгло настоящее, а ничего другого для меня не существовало.

Кхокха еще раз вздохнул для приличия.

— Моя мать очень больна, а мне нечего ей послать, я остался без рупии в кармане. Ты не мог бы мне одолжить, пока я не получу гонорар из Бенгальской кинокомпании?..

— Сколько тебе надо?

Он молчал. Я не стал глядеть ему в глаза. Мне было противно это вранье, я знал, что мать у него вовсе не больна и вообще живет на

попечении его родственника, коммерсанта из Калигхата.

— Тридцати рупий хватит? — спросил я и, не дожидаясь ответа, выписал ему чек.

Он стыдливо поблагодарил и снова завел разговор о Майтрейи.

Я прервал его:

— Иди, Кхокха, я засну, голова болит…

* * *

Вечером, оповещенные Гарольдом, явились проведать меня девицы. Завели в холле патефон, попросили у хозяйки вноси и оранжад и стали изображать бурное веселье, чтобы меня развлечь. Гарольд сказал им, что у меня депрессия, нервы, переутомление, в общем, что мне надо встряхнуться, перед тем как отбыть за город.

— Эй, Аллан, — начала Герти, — ты что такой кислый, мальчик? Разве твоя девочка не с тобой?

Она уселась мне на колени, и меня передернуло от отвращения. Я попросил:

— Не надо, Герти, я устал и болен.

— А может, влюблен? — Она игриво подмигнула. — Приворожила тебя какая-нибудь черномазая, немытая, у тебя к таким слабость…

Компания захохотала. Госпожа Рибейро, которая приводила для меня в порядок соседнюю комнату, заглянула к нам.

— Оставьте Аллана в покое. Пусть он лучше выпьет. От виски все проходит. Операция на глазах — не такая уж страшная штука.

— Вы что же, миссис Рибейро, думаете, что он из-за этой операции так переживает? — с сарказмом спросила Герти. — Там дело посерьезнее. Небось его черную увел другой хахаль…

— Слушай, ты, заткнись, наконец! — крикнул я в бешенстве, вскакивая со стула.

— Повежливее со мной, дружок, — покраснев, сказала Герти. — Мы тебе не негры из Бхованипора.

— Герти! — одернула ее Клара. — Оставь его, ему и так плохо.

— Да что вы с ним рассюсюкались, Аллан бедный, Аллан несчастный… Киснет, как баба, водится с грязными бенгальцами. Он

не имеет права меня оскорблять, меня, христианку.

— А он что, не христианин, что ли? — заметила Клара.

— Ха-ха! Это ты так думаешь, что христианин, — со смехом парировала Герти. — Вот Гарольд подтвердит, как он ему талдычил про свой индуизм и про священных коров и поносил Господа нашего Иисуса Христа. А теперь смеет мне рот затыкать!

Гарольд совершенно смешался, а госпожа Рибейро в отчаянии крикнула:

— Да уймитесь же вы!

— Я ухожу, хватит, — объявил я, поднимаясь. Герти враждебно смотрела на меня.

— В свой храм пошел молиться. Что-то ему не помогает его боженька…

* * *

Я провел мучительную ночь. Бродил по улицам, дымя сигаретой и держась окраин, чей говор и клокотание жизни как будто приближали меня к Майтрейи. Но, как только я вернулся и лег, боль, притуплённая усталостью, навалилась снова, и я был беззащитен перед ней. Напрасно я кусал подушку и бил себя по щекам, чтобы не закричать. Я твердил одно: «Майтрейи, Майтрейи, Майтрейи», — пока звуки этого имени не перестали вызывать во мне отклика и я не застыл в бесчувствии, лицом в подушку, не зная, где я и что я. Что-то порвалось во мне. Мысли перебегали с предмета на предмет, без всякой связи я видел то Тамлук, то Садийю, то разные другие знакомые места и ничего не понимал. Мне было только страшно останавливаться на чем-либо напоминающем ласки Майтрейи в вечер расставания, или «Good bye, Аллан» господина Сена, или «Выпей чаю» госпожи Сен… Как только эти сцены оживали в сознании, я начинал метаться по постели. Я слышал, как похрапывает в соседней комнате Гарольд, как бьют часы на башне протестантской церкви, отмеряя ночное время. Чтобы унять боль, я решил думать о смерти. Утоплюсь в Ганге, пусть Сен узнает, какое чистое чувство было у меня к Майтрейи. На другой день газеты напишут о европейском юноше, который покончил с собой по неизвестным причинам и которого вечером вытащили из воды

возвращавшиеся по домам лодочники. Майтрейи упадет без чувств при этом известии, а госпожа Сен раскается, поняв, как искренне, по-настоящему я любил ее дочь. Мысль о смерти стала моим единственным утешением. Я смаковал ее в подробностях: как я пишу письмо господину Сену, как всхожу на мост и там, обронив несколько скупых слез, смотрю, перегнувшись через балюстраду, на течение желтых, илистых вод… Кружится голова — и конец. Я снова и снова прокручивал этот фильм и уснул на рассвете.

Меня разбудил Гарольд — он звал меня к телефону. Прямо в пижаме я опрометью бросился в холл. Я сразу узнал голос Майтрейи, я упивался его звуками, хотя сам говорить боялся, чтобы меня не услышал Гарольд или кто-то из других жильцов госпожи Рибейро. То, что она говорила, я скорее угадывал, чем слышал, потому что она еле шептала, вероятно, чтобы не разбудить домашних, и то и дело принималась плакать. Это был звонок из тюрьмы, из окованной железом камеры, таким горьким был ее плач и так жаждал свободы голос.

— Аллан, ты меня узнаешь? Это я, я все та же, Аллан, что бы ни случилось… Будь мужчиной, уйди в работу, не падай духом… Больше не могу, Аллан, прости… больше не могу. Я хотела тебе сказать…

Трубка внезапно смолкла. Кто-то помешал. Госпожа Сен? Я напрасно кричал: «Алло! Алло!» Ответа не было.

Совершенно убитый я вернулся к себе. Бежать! На меня давили стены, мне мучителен был вид моих вещей — за каждую из них зацепилось слово, взгляд, эпизод. А это бамбуковое кресло, в котором мы умещались вдвоем! Я был не в состоянии выйти из морока, положить конец пытке воспоминаний, за одни сутки превративших меня в руину.

— Как дела у инженера, Аллан, операцию сделали? — поинтересовался Гарольд.

— Еще нет, — машинально ответил я. — Может быть, сегодня.

— Бедняга…

Я бросился на кровать и снова закурил, ничего не чувствуя — только руки дрожали, а лицо застыло без всякого выражения, я даже не плакал, просто валялся под вентилятором, не зная, что мне делать и что еще может произойти.

Часов в десять у дома остановился посыльный на велосипеде и спросил меня. Госпожа Рибейро принесла мне конверт. Посыльный не стал ждать ответа. Письмо было от Сена.

> Милостивый государь,
>
> Я вижу теперь, что у Вас нет ни чести, ни совести. Вы не просто безумец — оказывается, я пригрел змею на груди, а змея, если вовремя не размозжить ей голову, норовит извернуться и ужалить. Вас и на сутки не хватило. Как последний трус, Вы нарушили данное мне слово — не сообщаться ни с кем из членов моей семьи, и теперь из-за Вас страдает бедная девочка, на которую Вы, к несчастью, имели некоторое влияние. Если с Вашей стороны последует еще хоть одна подобная попытка, я сделаю все от меня зависящее, чтобы Вас выслали из страны. Вы должны были уехать тотчас же — я полагал, что хоть на это у вас хватит здравого смысла. Я распорядился по телефону, чтобы Вас уволили с сегодняшнего дня. Единственное, что от Вас требуется, — взять расчет и немедленно уехать. Всякой неблагодарности есть предел…

Я оторопел, пробежав письмо глазами. Не потому, что меня уволили, я бы и сам не остался, я не мог видеть инженера после того, что мне рассказал Кхокха. Но из письма явствовало, что Майтрейи будет совершать один ложный шаг за другим, навлекая на себя самые неприятные последствия, а ее боль будет удесятерять мою — ведь я знал, что ничем не могу ей помочь, могу только бесполезно мучиться в одиночестве, вдалеке от нее. Я сложил письмо и, взяв каскетку, пошел из дому.

— К обеду будете, Аллан? — спросила госпожа Рибейро.

— Конечно.

— Я приготовлю ваши любимые блюда, я у Гарольда выведала, что вы любите… И не надо переживать…

Я улыбнулся и вышел за калитку. Цели у меня не было. Я подумал, что надо бы взять сколько-нибудь денег из банка, если я собираюсь уезжать, не по приказу Сена, конечно, его угрозы меня не пугали. Я хотел уехать, считая, что лишь так помогу Майтрейи —

помогу забыть меня. Я рассуждал как подросток. До банка я дошел пешком, хотя от Ройд-лейн до Клайв-стрит расстояние порядочное.

Набив портмоне банкнотами и рассовав по карманам серебро, я направился к вокзалу. Переходя Хаурский мост, остановился посмотреть на Ганг, грязный, густо усеянный лодками, и мысль о самоубийстве показалась мне до крайности нелепой… На вокзал я зашел, только чтобы выпить лимонада. Был уже полдень. От вокзала я повернул направо по окружному шоссе, в сторону Белур-Матха. Углубившись в тенистое шоссе, я почувствовал прилив сил, на душе стало спокойнее. Я не останавливался даже покурить, а шагал размашисто и ожесточенно. Меня обгоняли автобусы, совершавшие рейс «Вокзал — Хугли», и почти все тормозили при виде такого странного зрелища: пеший европеец на загородном шоссе. Я задержался только у бедной лавчонки, где старуха торговала лимонадом, бетелем и стручковым перцем; мне хотелось выпить холодного. Я заговорил со старухой по-бенгальски, а не на хинди, как полагалось бы, и ее ответ на языке Майтрейи ласкал мой слух и был как бальзам моему сердцу.

К половине третьего я добрался до Белур-Матха, причем последние два километра шел под дождем и промок до нитки; весь забрызганный грязью, с блуждающим взглядом, я напугал Свами Мадхвананду, монаха, с которым познакомился еще в те времена, когда приезжал сюда на инженеровой машине. Я пошел обсушиться на берег Ганга и, лежа на траве, лицом к солнцу, перебирал в памяти все наши с Майтрейи прогулки, вспоминая счастье и беззаботность тех дней. Плакать я больше не мог и, достав из кармана блокнот, стал писать. (Сегодня, перечитывая эти кровью написанные заметки, я нахожу их такими пресными, такими незначительными. Например: *«Зачем все кончилось? Во мне — огромная пустота. Все бессмысленно. Когда я слышу бенгальскую песню наверху, в монастыре, мне хочется плакать. Майтрейи, Майтрейи, Майтрейи. Я больше ее никогда не увижу…»* Как мы беспомощны в словах в момент слишком большой радости или слишком большого горя! Я начинаю верить, что только дистанция, только фильтры памяти могут передать жизнь. Дневник сух и невыразителен.)

Свами спросил меня, что со мной, но, когда я сказал, что пришел из Калькутты пешком и ничего не ел, потому что не могу есть, он еще

больше испугался и стал чуть ли не гнать меня прочь, а то я еще разболеюсь — он знал, что год назад у меня была малярия, — а им тут больные не нужны. Он говорил категорическим тоном и, вероятно, презирал меня, погрязшего в страстях. Индийские монахи не утешают, находя недостойным утешать душу, порабощенную страданием, их идеал отрешенности не имеет ничего общего с тем, что присуще человеку, — с болью, со всеми неприятными последствиями поступков. Они слишком святы, эти люди, чья цель — высшее бесстрастие.

Впрочем, поскольку я пришел в монастырь не за утешением, а затем, чтобы повидаться с моей Майтрейи, с Майтрейи из воспоминаний, где она только и была настоящей, меня не слишком задели слова Свами, они лишь усилили во мне ощущение одиночества. Я ушел, поблагодарив за фрукты и сласти, которые принес мне один из братьев. Но не повернул обратно, а пошел дальше, по тому же шоссе, к Ранагхату. На закате я был в Балли. Спустился к Гангу, сел на камень, неторопливо курил, долго смотрел, как течет река, тихая и широкая, к нашему городу. Вокруг собрались дети, сначала они кричали издали на ломаном английском: «Белая обезьяна!» — потом, видя, что я не обижаюсь, а только смотрю на них, задумчиво, со слезами на глазах, осторожно подошли поближе. Я заговорил с ними по-бенгальски и раздал мелочь. Они гурьбой проводили меня до края деревни. Вечер после дождя был прохладен, но ясен и располагал к ходьбе. Скоро я остался один на шоссе. Иногда в сторону Калькутты проносились машины с зажженными фарами. Поспешно перебегал дорогу случайный прохожий. Как рано, подумал я, ложатся спать в Индии! Вспомнил Бхованипор — и теплой волной захлестнуло горло. Остановился только раз — купить сигареты в придорожной лавке, «Сизез», других не было. Горела карбидная лампа, и несколько путников отдыхали, куря хуку — мирными, долгими затяжками. Все обернулись на меня с удивлением, а кто-то даже вышел следом за мной на шоссе, посмотреть, правда ли я пойду один, пешком, в темноту.

Не знаю, до которого часа я шел и что это была за деревня, где я остановился. Мне не хотелось спать, я не чувствовал усталости, и безрассудный марш в темноте начал меня захватывать, усмиряя мысли. Я даже немного льстил себе, говоря, что делаю это от горя и ради Майтрейи. В нескольких метрах от дороги я нашел колодец под

кровлей и устроил привал, улегшись прямо на плиты, положив под голову каскетку. Мне снились все те же сны с Майтрейи, и много раз я просыпался, дрожа от холода и одиночества. Потом к колодцу пришли люди, и меня окончательно разбудил шум. (Странно, что в том состоянии, в каком я находился, я не переставал помнить, что при мне пятьсот рупий, и, как только приближались люди, инстинктивно ощупывал бумажник.) Все таращились на меня в изумлении, не осмеливаясь ни о чем спросить: хотя я был в забрызганном грязью костюме и в потерявших форму парусиновых туфлях, но все же видно было, что я сахиб, к тому же белый сахиб.

Я ополоснул лицо и отправился в дорогу, шагая быстрее и деловитее, потому что с рассветом на шоссе стало больше движения. Я шел, глядя под ноги, замедляя шаг лишь тогда, когда среди пальм или на излучине дороги проглядывал Ганг. Не знаю, почему меня так тянула река, текущая туда, откуда я уходил, — к городу Майтрейи. Я едва помнил, что погнало меня в дорогу, не думал о беспокойстве, которое доставлю Гарольду или госпоже Рибейро, меня грела одна мысль: может быть, придет Кхокха и, узнав о моем исчезновении, расскажет инженеру, а тот решит, что я умер, и пожалеет о содеянном.

Обедал я в трактире под Ранагхатом. Заказал рис с карри и жареной рыбой, причем ел руками, как настоящий индиец, к восторгу соседей по столу, которые, впрочем, могли слышать и мой изысканный бенгальский. Вот только внешность моя задала им задачу, я понял, что вид у меня диковатый: отросшая щетина, всклокоченные волосы, замызганный костюм и грязные ногти.

Я начал забываться и от этого почувствовал еще большую охоту к дороге. Шагал до заката солнца, шоссе стало пустынным, встречались только редкие развалюхи-грузовички и воловьи упряжки. День выдался особенно знойным, и у каждого колодца я останавливался, чтобы напиться и освежить лицо. На ночь я расположился под огромным манговым деревом, одиноко стоявшим у заброшенного пруда. Меня долго мучали москиты, но в конце концов усталость взяла свое, я проспал далеко за полдень и проснулся с онемевшими членами, плохо понимая, где нахожусь. Вероятно, мне снились кошмары, потому что я был весь в холодном поту и дрожал.

Почти бегом я снова пустился вперед по шоссе, и целый день провел в беспамятстве, помню только, как сквозь сон, что спрашивал у

кого-то, как называется местность и нет ли тут вокзала, и мне показали дорогу к полустанку в окрестностях Бурдвана, куда я дошел уже в сумерках. Около полуночи проходил пассажирский поезд, и я сел в вагон третьего класса, не решившись примкнуть к чистой публике.

В Бурдване меня ослепили и напугали огни вокзала. Ошарашенный и осоловелый, как будто меня подняли с постели по тревоге, я не сразу сообразил, к какому окошечку подойти за билетом второго класса: на этот раз мне было стыдно толкаться у окошечка третьего класса вместе со старухами и оборванцами — я стеснялся тех нескольких европейцев, которые очень подозрительно оглядывали на перроне мой костюм. Притулившись в уголке буфета, я стал ждать скорого поезда на Лакхнау, попивая чай и пробуя восстановить с самого начала свою эскападу. Но из общей картины выпали огромные куски, и эти провалы в памяти не давали мне покоя. Закрадывалась мысль — а что, если я сошел с ума? Тогда я приказал себе ни о чем не думать. Все пройдет, все проходит, твердил я (с тех самых пор это стало рефреном моей жизни).

В Хауре я снова заволновался, как будто мог встретить здесь кого-то из Бхованипора. Я помнил, что они собирались в Миднапур, и хотя мысль об этом была для меня мучительной, но все же в ней заключалась и доля утешения: если таким образом Майтрейи оказывалась еще дальше от меня, то и Сен тоже, и я не рисковал столкнуться с ним в Калькутте. Я приехал домой на такси в тот самый час, когда меня начала разыскивать полиция с Парк-стрит. Госпожа Рибейро чуть не упала в обморок, когда увидела, как я выхожу из машины, грязный, в рваной каскетке, заросший четырехдневной щетиной.

— Где вы были, Господи Боже мой, где вы пропадали? Из Бхованипора оборвали телефон, а этот молодой человек, мистер Чаттерджи, которого вы зовете Кхокха, раз десять заходил лично. Боже мой, Боже мой…

Я оставил ее причитать и пошел в ванную. Ничего другого я не хотел в ту минуту — только смыть с себя грязь. Гарольд позвонил из конторы, справиться, нет ли новостей, и, узнав от госпожи Рибейро, что я приехал — ив каком виде приехал, — тут же взял такси и примчался домой.

— Слава Богу, нашелся, слава Богу, — повторял он, пожимая мне руки. — Все образуется, старик. Но где же ты все-таки был? Что на тебя нашло?

Я похлопал его по плечу, растроганный такой встречей.

— Гулял. Ничего страшного. Просто решил прогуляться. — Я улыбнулся. — А вы как тут?

— Вчера приходили девочки, ты их очень напугал. Хотим теперь закатиться в китайский квартал, на радостях — все-таки ты вырвался из когтей идолопоклонников. Здорово. Тут негр этот захаживал, тебя все искал. Кажется, тоже в расстройстве чувств. Он мне надоел, и я велел ему убираться. «Он теперь опять христианин», — говорю.

Вскоре позвонил Кхокха — из книжного магазина на Асутош-Мукерджи-роуд, где у него были друзья, — и сообщил скороговоркой, что тут много чего произошло и что он должен непременно меня повидать. Попросив его взять такси и приехать, я сел дожидаться на веранде.

— Где ты был? — спросил он вместо приветствия.

— Потом скажу, — ответил я довольно резко. — Сначала выкладывай ты.

Новостей было много. Майтрейи хотели выдать замуж, но она пообещала в первую брачную ночь признаться мужу, что принадлежала мне: муж выставит ее из дому со скандалом, и семья Сен будет опозорена на весь город. Инженер, как услышал, закатил ей такую оплеуху, что свалил с ног. Правда, и у него тут же случился приступ, и его отвезли в больницу, совсем ослепшего. Как только успокоится, будут оперировать — завтра-послезавтра. Правда, успокоить его очень трудно, доктора просто теряются. Майтрейи заперли в комнате, но предварительно госпожа Сен позвала шофера, чтобы он в ее присутствии высек Майтрейи розгами, что он и делал, пока Майтрейи не потеряла сознания. Госпожа Сен сначала хотела заставить Кхокху, но он убежал. Чабу пыталась отравиться креолином. Она теперь тоже в больнице. Майтрейи посылает мне веточку цветущего олеандра в конверте, на одном листике она выдавила острием карандаша: «Аллан, мой последний подарок» — больше ничего не успела. На словах передает, чтобы я уехал не раньше чем через пять дней. О моем исчезновении она не знала, и хорошо, что не

знала — могла подумать, что я покончил с собой, и мало ли какую сделать глупость…

Я слушал его, как во сне, пытаясь убедить себя в важности принесенных Кхокхой известий, но почти ничего не понимал, кроме того, что Майтрейи плохо и что ее держат взаперти. Кхокха попросил написать для нее несколько строк, но я вспомнил данное Сену обещание и только сказал:

— К чему? К чему все это теперь? Пусть забудет меня. Она должна забыть. На три года, на пять лет, пока снова не станет моей…

И я плачу самым глупейшим образом, как в бреду, приговаривая сквозь всхлипы:

— Если бы я мог любить ее, если бы я мог!.. Но я не люблю ее.

Кхокха таращится на меня с гадкой ухмылкой.

— Я хочу ее любить! — Это уже почти вой. — Почему я не могу любить ее?..

На шум прибегает госпожа Рибейро.

— Я хочу любить Майтрейи! — кричу я ей в лицо. — Почему мне не дают любить ее? Что я им сделал? Что им от меня надо? Что вам всем от меня надо?..

* * *

Помню еще один утренний звонок Майтрейи.

— Прощай, Аллан, прощай, мое счастье. Мы встретимся в будущей жизни. Ты меня узнаешь тогда? Ты меня будешь ждать? Жди меня, Аллан, не забывай меня. Я тебя жду. Никто другой ко мне не прикоснется…

Я не мог выговорить ничего, кроме:

— Майтрейи, Майтрейи…

Я уехал на седьмой день после расставания с Бхованипором. Последние две ночи провел под их окнами, подстерегая свет в комнате Майтрейи. Но он не зажегся ни разу.

Тогда же умерла Чабу.

XIV

Месяцы, проведенные в Гималаях, так ясны и печальны, что вряд ли я смогу передать в словах это странное продолжение моей любви и разлуки.

Я попал сюда, сбежав поочередно из Дели, Симлы, Наини-Тала, где слишком много людей, особенно белых. Я сторонился людей, потому что для меня было непосильным трудом отвечать на их приветствия, обсуждать вещи, не имеющие для меня ни малейшего значения; в городе я не мог найти того уединения, в котором нуждался. Одиночество было мне теперь и пищей, и утешением. Немногие мои соотечественники, я думаю, знавали его в такой суровой и решительной форме. С октября по февраль я не видел ни одного человека, кроме сторожа бунгало, только с ним я перебрасывался словом, когда он приносил еду в мою обшитую деревом комнатку или менял воду в кувшине. Все время я проводил в лесу, окрестности Альморы славятся своими сосновыми лесами, лучшими в Гималаях, и я исходил их вдоль и поперек, без конца прокручивая в голове пленку нашей с Майтрейи любви, воображая разные приключения, одно невероятнее другого, которые приводили нас в не доступные ни для кого места — в мертвую крепость Фатехпур-Сикхри или в заброшенную хижину посреди джунглей.

Целыми днями я предавался одной и той же фантастической грезе: я и Майтрейи в изоляции от остального мира. Давно забытые происшествия возвращались во всей их свежести, и воображение дополняло их, углубляло, связывало между собой. Подробности, на которые в свое время я не обратил внимания, сейчас изменяли все поле моего внутреннего зрения. Куда бы я ни шел, я всюду встречал ее, среди сосен и берез, на скалах и тропинках. Я так увлекался моей захватывающей сказкой, что любое вмешательство извне страшило меня до физического страдания. Я знал, что и Майтрейи там, в своей келейке, столь же страстно думает обо мне, о нашей общей жизни, и этот мысленный разговор поднимал нас над событиями, скреплял вопреки разлуке и смерти.

В лунную ночь я уходил через лес в долину И там, сидя на камне у ручья, глядя на воду, звал: «Майтрейи! Майтрейи!» — пока голос от усталости не гас, не переходил в шепот. Тогда я возвращался той же дорогой домой с невероятным умиротворением в душе, будучи уверен, что Майтрейи услышала меня, что вода и ветер донесли до нее мой зов. Не знаю, были ли эти месяцы полного затворничества настоящей жизнью, знаю только, что благодаря им я выжил. Во мне не осталось ничего от того крепко стоящего на ногах молодого человека, знающего, чего он хочет, оттого европейца, влюбленного в технику, от того пионера, который считал, что, высаживаясь на индийский берег, он несет этой стране цивилизацию. Все казалось мне теперь бессмысленным и тщетным. Все, кроме месяцев любви и горя: ведь я переживал не только разлуку с Майтрейи, я чувствовал себя преступником по отношению к своему благодетелю, к несравненной матери, к маленькой Чабу, которую не кто иной, как я, подтолкнул к смерти. Чувство вины не давало мне вздохнуть спокойно. Я должен был усыпить его, принимая все более сильную дозу наркотических грез, в которых не существовало ни смерти, ни греха, ни разлуки.

Я постоянно перечитывал дневник, но никогда не осмеливался приближаться к восемнадцатому сентября. Мне хотелось похоронить этот день. Я запечатал в одном большом конверте записки Майтрейи, письма инженера, письмецо Чабу, веточку олеандра, шпильку для волос, несколько листков бумаги с записями рукой Майтрейи, по большей части из времен наших занятий французским, — словом, все материальные следы этого переломного момента моей юности. (Я распечатал конверт только на днях, когда кончал последние главы, и многое мог бы сказать о гнетущем впечатлении от реликвий!..) В дневнике я перечитывал обычно преамбулу наших отношений, усмехаясь собственной наивности, «самонадеянности чувств», так долго не дававшей мне понять мое чувство к Майтрейи.

Я не писал и не получал писем. Раз или два в месяц сторож отправлялся в Наини-Тал за провизией, которой нельзя было купить в деревнях, в долине, и тогда я пересылал с ним чек для банка либо телеграмму для Гарольда, что я еще жив.

В канун Рождества я получил сюрприз, открывший мне, как крепко я все еще связан со своим прошлым и как опасно было бы сейчас возвращение в Калькутту. Кхокха выведал в банке мое

местонахождение и написал мне в Наини-Тал до востребования. Когда я увидел свое имя на конверте, принесенном сторожем, я не поверил своим глазам. Мне казалось, что того Аллана давно уже нет, что он остался в далеком прошлом. Я запер дверь на засов и прочел письмо Кхокхи, весь дрожа, как если бы вдруг оказался перед лицом супругов Сен или Майтрейи. Кхокха писал, что семейство провело месяц в Миднапуре, откуда Майтрейи посылает мне несколько строк на обрывках газет и вокзальных афиш, вместе со скромными полевыми цветами, вероятно собранными во время поднадзорных прогулок по окрестным полям. Я понял, что Майтрейи слишком многое пережила, чтобы сохранить меня в памяти таким, как я есть. Она сотворила себе собственного Аллана, целую мифологию, великолепную и недосягаемую, и без конца лелеяла ее, чтобы поднять еще выше над всем бренным. Она писала: *«Как я могу потерять тебя, если ты — мое солнце, если твои луни греют меня на этой проселочной дороге? Разве можно забыть солнце?»* На другом клочке бумаги она называла меня солнцем, воздухом и цветами. *«Разве не тебя я целую, касаясь губами букета, прижимая его к груди?»* Или: *«По ночам ты приходишь ко мне, как я приходила когда-то в комнату нашей любви в Бхованипоре. Но я приходила как женщина, потому что ты сделал меня женщиной, а ты приходишь как бог из золота и драгоценных каменьев, и я обожаю тебя, ибо ты больше чем моя любовь, ты — мое светило, сама моя жизнь!»*

Я размышлял над ее страстью к мифологизации, для меня это был болезненный процесс: превращаться в абстракцию, из человека — в бога, из любовника — в солнце. Я тоже открыл новую для себя жизнь в мечтах, но мои мечты приводили ко мне ту же Майтрейи из Бхованипора, и я так же по-мужски сжимал ее в объятиях. Мои мечты, при всей их невыполнимости, продолжали нашу прерванную общую жизнь и нашу любовь, давая ей развиться и исполниться. Ее же мифология давно сделала из меня плод воображения, идею, и я не находил себя, со всеми своими недостатками и страстями, в этом ее «солнце», в этих ее «цветах».

Я читал — и сердце мое сжималось. Она уходила от меня далеко — зачем? Зачем умоляла забыть ее ради встречи в будущей жизни? Что мне за дело до будущей жизни и до всех ее богов?..

Я жаждал конкретного, непосредственной жизни, присутствия. Меня донимало воспоминание о Майтрейи во плоти, о существе живом и проявляющем себя *незаменимо,* — эту Майтрейи, ее душу и тело я хотел, ее я встречал день за днем в бесконечном мысленном фильме. Я сопротивлялся растворению в ее любви, вытеснению себя идеей, мифом. Я не желал примириться на любви вечной и небесной, моя любовь требовала воплощения, земных, а не ангельских атрибутов…

Кхокха сообщал мне и другие новости: инженера прооперировали не слишком удачно, и он будет на больничном положении еще с полгода. Госпожа Сен поседела, у нее теперь лицо — как у святой. Майтрейи совсем исхудала и упрямо отказывается от всех вариантов замужества. По возвращении из Миднапура она все время названивает на Ройд-лейн, считая, что ее обманывают, что я на самом деле уже в Калькутте и просто не хочу ее видеть. Он, Кхокха, однажды заходил к моей хозяйке, госпоже Рибейро, и она пожаловалась, что ничего обо мне не знает, что речь шла о двух-трех неделях, но вот уже три месяца, как от меня ни слуху ни духу, ничего, кроме телеграмм на имя Гарольда. Инженер все-таки выгнал из дома Манту, он надерзил госпоже Сен, и несчастный теперь перебивается кое-как, потому что со своей свадьбой влез в долги, и живут они с Лилу врозь, она — у родителей, он — в студенческом общежитии, на хлебе и воде, чтобы поскорее расплатиться с долгами и снова съехаться с женой.

Кхокха кончал письмо вопросом, когда я думаю вернуться, и заклинал не портить себе карьеру и не ломать свою молодую жизнь из-за какого-то романа. С кем не бывает? Люди должны выходить из испытаний сильнее и крепче, чем прежде, а удаляться в горы — это не решение, заключал Кхокха. Итак, когда я возвращаюсь?

Когда возвращаюсь? Хотел бы я знать. Снова поселиться в Калькутте? Я не мог об этом и думать. Впрочем, я вообще не представлял себе, что мне там делать, потому что работу я потерял, справки не взял, а идти за ней в офис решительно не мог. Моих денег хватило бы еще на год уединенной жизни. А потом? Начать сначала, уехать куда-нибудь подальше, на Яву, например, и там отважиться на новую жизнь?.. Проекты оставались проектами, я не мог допустить и мысли о разлуке с Индией, но не мог представить себя и за какой бы то ни было работой. Любая деятельность, любые честолюбивые

помыслы, любая цель утратили для меня смысл и не вызывали в душе ничего, кроме смертной скуки. Я сидел на веранде бунгало и смотрел на сосновый лес, думая: что может быть лучше? Где больше смысла, чем в этом лесу, не задающемся вопросом, для чего он растет и кого хочет поразить такой невиданной красотой? Или представлял себя деревяшкой, которая неспешно блуждает, беззаботная, хмельная, по водам Ганга. Ничего не чувствовать, ничего не помнить. Разве не может быть смыслом существования превращение, например, в минерал, в кристалл? Быть кристаллом, жить и распространять свет, подобно кристаллу…

Множество глупых вопросов, никак не связанных с философией, возникало в голове. Я не взял с собой ни одной книжки и думал о чем попало, изобретая для себя разные услады и утешения. Не раскрывая рта, я непрерывно говорил с воображаемыми людьми: они все были похожи на меня, — но — настоящие мужчины, глубже и свободнее, чем я. Ни один узник никогда так не хотел свободы. Я чувствовал себя скованным по рукам и ногам. У меня были свои запретные зоны, и первая — зона, в которую было заключено восемнадцатое сентября…

* * *

Вначале февраля среди ночи в бунгало явилась незнакомка и разбудила сторожа, вероятно прося комнату, но он не мог разобрать ни слова и призвал меня на помощь. Я вышел в накидке на меху, настоящей гималайской, как у монгольских горцев. В шезлонге на веранде в позе крайней усталости расположилась женщина — я разглядел только белокурые волосы и большие руки, которыми она стягивала на груди кургузый френч. Она знала буквально два-три слова на хинди и просияла, увидев меня. Во дворе топтался мальчик с багажом. Они пришли пешком из Раникхета, много раз сбивались с тропинки и с трудом отыскали брод через ручей, чтобы подняться к бунгало. Она никак не могла отдышаться. В Раникхете, сколько я понял, вышел какой-то инцидент, отчего она должна была уйти на ночь глядя. Ее звали Джения Айзек, она приехала из Южной Африки, из Кейптауна, и уже несколько месяцев находилась в Индии, путешествуя по Гималаям в поисках монастыря, который дал бы ей пристанище.

Она произвела на меня впечатление особы экзальтированной, но холодной, как будто ее экзальтация шла от разочарования, а не от жажды иной истины. Когда сторож зажег большой фонарь, я разглядел ее получше: довольно молодая, круглое лицо, голубые без блеска глаза. Детский голосок контрастировал с высокой ладной фигурой, с сильными руками и развитой грудью. Одета она была весьма своеобразно — в колониальный костюм, приспособленный для горной дороги. Сторожу пришлось отпаивать ее чаем, такая она была заледеневшая, и она пила с жадностью, без умолку тараторя, задавая вопросы, меряя меня любопытным взглядом. Я с досадой взирал на эту некстати явившуюся гостью, но успокоился, узнав, что самое позднее через два дня она отправляется в Майкхали, а оттуда — в Бхадринатх. Пути до Бхадринатха тридцать дней по хорошей дороге. Ее рассуждения вызвали у меня улыбку, я знал, что горные перевалы сейчас покрыты льдом, тропинки ушли под снег, к тому же дорога на Бхадринатх проходит не через Майкхали, а через Хардвар. Я дал ей на сей счет объяснения и посоветовал дойти до Котвары, откуда на Хардвар идут поезда. Она спросила, сколько я еще пробуду здесь и не собираюсь ли сам куда-нибудь. Надо было пресечь в корне попытку вызвать меня на откровенность, покопаться в моем прошлом, выведать планы, поэтому я кратко и сухо ответил, что облюбовал это бунгало, потому что сюда редко заходят путники, а мне нужен сосновый воздух…

На другой день я по своему обыкновению ушел из дому с рассветом. Бродил по горам, выкупался под скалой, подкрепился медовыми лепешками и вернулся к вечеру. Сторож встретил меня известием, что мем-сахиб заболела и спрашивала обо мне. Как, интересно, он об этом догадался, подумал я, при скудости словарного запаса Джении Айзек. Я постучал в ее дверь, ответил совсем вялый голос. Мне это не понравилось, потому что перспектива сидеть с больной, да еще с белой больной, была для меня невыносима. Я нашел ее в лихорадке, в жару, но в довольно хорошем настроении. Она попросила меня написать для нее список самых употребительных слов на хинди и приготовить чашку какао, потому что от сторожа она не смогла этого добиться. Ее как будто совсем не пугало, что она оказалась больная в такой глуши, совсем одна, без языка, без надежды на помощь. Выяснилось, что у нее уже три недели лихорадка, она была

даже при смерти и ее приютил один отшельник под Альморой, но она ничего не боится. Я мельком поинтересовался, зачем она приехала в Индию, и она, зардевшись, призналась:

— Ищу Абсолют…

Я чуть не расхохотался. Правда, чувство юмора, вдруг вернувшееся ко мне от ответа незнакомки, меня обеспокоило. Я-то думал, меня уже ничем не пронять, не рассмешить никакой нелепостью. Что ни буре, ни тонкой игре эмоций не пробить того бесстрастия, которого, мне казалось, я достиг. Что мне до всего этого столько же дела, сколько до камней при дороге. Но серьезность, с какой Джения произнесла слово «Абсолют», разбудила меня, вернула в мир фарса и бессмыслицы, обмана и сна, драм и нелепиц. В мир, где я столько времени жил…

Я поспешил переменить тему, спросив, что она думает о Ганди и индийском национальном движении. Я всегда так поступаю, когда хочу установить дистанцию между собой и другими. Джения ответила, что хотя она английская подданная, но происходит из семьи финских евреев, обосновавшихся на юге Африки в конце прошлого века, что она не выносит лицемерия белых, что она здесь затем, чтобы все забыть, поселиться в ашраме, обрести истину, жизнь, бессмертие. Я не моргнув глазом выслушал эту ахинею, эту галиматью Рамачараки об Индии факиров и мистиков, этот эрзац, заменяющий культуру в англосаксонских городах. Она, по-видимому, хлебнула одиночества и теперь радовалась, что нашла человека, который может ее выслушать и который «ее понимает». Она была неутомима в признаниях, сообщая мне, что у нее еще четыре сестры, что в Кейптауне она играла в муниципальном оркестре и зарабатывала сорок фунтов стерлингов в месяц, но рассорилась со своим семейством (буржуа, они хотели выдать ее замуж!) и переселилась в пригород, на ферму, куда возвращалась каждый вечер после концерта на маленьком автомобиле, купленном на собственные сбережения…

Она болтала бы и дальше, но я извинился, спросил, нет ли у нее просьб, и, напомнив, что час поздний, сдержанно пожал ей руку, пожелал скорейшего выздоровления и ретировался.

В ту ночь я долго, со щемящей жалостью размышлял над иллюзией «Абсолюта», ради которого бедная музыкантша бросила семейный очаг и независимую цивилизованную жизнь, начитавшись

этого английского паяца с псевдонимом Рамачарака. (Его книги попадали к ней в руки с разными таинственностями, как она мне потом рассказывала. Раз ей приснился книжный магазин с незнакомой вывеской; на другой день, когда она на своей машине проезжала по одной из малолюдных улиц, у нее заглох мотор, и, подняв глаза, она увидела вывеску из сна! Зашла в магазин — а там целая полка книг по теософии, оккультизму и йоге! Но она выбрала только Рамачараку. Так, через него, она открыла Индию, так на нее снизошло «откровение».)

На два дня мне пришлось отложить мои прогулки, мечтания и медитации, которым я предавался эти месяцы, потому что Джения остро нуждалась в моих услугах. Она, конечно, чувствовала, что мне это в тягость, но одиночество и болезнь заставляли ее то и дело переступать через свою гордость и, изощряясь в предлогах, посылать за мной чуть ли не каждый час. Серия признаний продолжалась, как будто Джения не могла установить со мной дружеских отношений, не выложив мне сначала всю свою жизнь, не высветив все уголки своей души, которую ей так хотелось видеть непохожей на других, хотя на самом деле она повторяла весьма распространенный вариант боваризма, питаясь максималистскими идеями и истинами с большой буквы. Так она поведала мне о своем презрении к миру, обществу, к семье и любви, к своим собственным бесконечным страданиям, которые прекратились, когда она обрела свободу, отказавшись от всего мирского. Труднее было отказаться от музыки, от искусства. О любви она имела представление самое усеченное. Она никогда не любила — то есть она думала, что любит, но этот человек обручился с другой, и тогда она поняла, что все было иллюзией. Ей очень хотелось приобрести опыт плотской любви, прежде чем уйти от этой эфемерной жизни на поиски абсолюта. И за две недели до того, как покинуть Африку, она отдалась одному своему приятелю, симпатичному немцу, который прекрасно танцевал, когда-то за ней ухаживал и никак не хотел поверить, что она только сейчас собралась потерять невинность. Этот ее приятель, оказавшись то ли грубым, то ли просто неумелым, заставил ее испытать полное разочарование в мужской близости. Она даже с облегчением думала, что жизнь, к которой она себя готовит, исключает возможность любить и быть любимой. В мужчинах она видела теперь только скотство и бессердечие. Если кто из лиц мужского пола и заслуживал в ее глазах некоторого уважения, так это

те, кто отказался от мирских «наслаждений», то есть отшельники, философы, мистики. В голове Джении была мешанина из беспочвенных идей, личных разочарований и типично женского романтизма (культ сверхчеловека, одиночки; изоляция, экзотика, отречение). Я ужасался, слушая ее, потому что с тех пор, как поселился в горах, приучил себя додумывать всякую мысль до конца, перебирая ее возможные следствия, и меня невольно коробило от перекосов в сознании этой молодой особы, ищущей Абсолюта.

Каждый раз, возвратясь в свою комнату, я записывал в дневник впечатления и суждения, потому что мне казалось, что явление Джении — это больше чем простая случайность; оно восстанавливало мой контакт с тем миром и с тем образом мыслей, от которого я бежал несколько месяцев назад. За неделю Джения успела выздороветь и окрепнуть, а я — совершенно переменить свое мнение о ней. То, что вначале меня раздражало и утомляло, теперь возбуждало интерес как феномен, и кроме того, это была *проверка*. Проверка себя миром, белым европейским миром, который я покинул и в который мне предстояло рано или поздно вернуться. И вторая, гораздо более серьезная проверка — самой моей жизни, моих молодых сил.

Однажды, застав Джению полуодетой в ее комнате, я даже испугался, оттого что ничего не почувствовал, как будто увидел неодушевленный предмет. В ту ночь я долго ворочался в постели, мучимый вопросом, не ушло ли из меня сексуальное начало; может быть, слишком сильная любовь к Майтрейи, шок от разлуки и долгое одиночество превратили меня в робкого и сентиментального импотента? Может быть, я живу вдали от света просто потому, что не в силах принять его вызов, может быть, я решил отказаться от любви и от женщин, поскольку я просто ни на что больше не способен? Я пережил часы полного ужаса, представляя себе, как первое поражение наложит отпечаток на всю мою жизнь, как я, перегоревший, по инерции буду доживать свой век. Признаюсь, свет — все его блага, его женщины, иллюзии и борьба за существование — меня не интересовал. Но меня подмывало проверить, способен ли я вообще еще хоть на что-то. Не удаляюсь ли я от жизни с брезгливой миной только из-за того, что мне ничего другого не остается, что мне просто не приходится выбирать?

Я стал присматриваться к Джении, но не испытал при этом никакого волнения, ни одна фривольная мысль не хотела приходить в голову, и воображение не затевало никаких шалостей. И тогда я решил спровоцировать Джению, принудить ее быть женственной, какой она, несомненно, и была до отъезда из Кейптауна. Так я стал сам заботиться о своем искушении. Мне надо убедиться, думал я, что во мне не умер мужчина, что все мои грехи, мелкие подлости и страсти при мне, тогда я смогу спокойно удалиться от мира, мой выбор будет свободным. Я продолжу то, что решил, именно потому, что могу себе позволить и противоположное. Правда, Джения и сама иногда вела себя со мной вполне по-женски. Например, посвящая меня в теософию и в «тайны Тибета» (ее вера в эти мифы была безусловной), она прикрывала глаза, и ее голос делался заговорщическим, вкрадчивым. Или, напротив, на нее нападала смешливость, она очень мило угощала меня чашечкой шоколада, пудрилась к моему приходу (она отказалась от пудры и румян с тех пор, как вступила в Гималаи) и пыталась выведать у меня, зачем я здесь и в знак чего ношу на пальце кольцо с черным камнем.

Странно, как неотрывно я думал о Майтрейи, сидя и говоря с Джением. Я все время держал ее в голове и часто, пытаясь обнять в воображении другую женщину, недоуменно пожимал плечами от полной невозможности чего-либо подобного, от нереальности для меня любовных отношений ни с Джением, ни с кем бы то ни было еще. Чувство к Майтрейи оказалось таким сильным, а воспоминание о ней так решительно исключало любое чужое присутствие в моей жизни, что я стал опасаться, не истощит ли меня окончательно это постоянное пребывание в живом прошлом. Иногда я ловил себя на мысли, что я буду делать весь остаток жизни, если не повторю истории Абеляра и Элоизы? Мне надо было снова ощутить себя свободным, испытать свою свободу, чтобы любовь к Майтрейи стала делом выбора, а не бегством от жизни. Мне очень трудно объяснить здесь эти темные мысли, выбившие меня из добровольного заточения, толкнувшие в новый опыт. Возможно, я и сам их не до конца понимаю. Возможно.

Джения наметила отъезд на понедельник и даже послала в Раникхет договориться насчет носильщика. Дня за три до этого она стала поглядывать на меня со значением, смеясь над моими самыми невинными замечаниями, как будто улавливая в них какой-то намек, и

пеняла на то, что отказывается от жизни, не познав ее, что ей хватило бы одного-единственного раза, потому что в любви нельзя ничего повторять, и так далее и тому подобное. Я приходил в восторг от этих проявлений женственности. Когда в субботу вечером взошла чудесная луна, располагающая к откровенности, я понял, что пора наконец распутать узел молчания и затворничества, и пригласил Джению на веранду, где и рассказал ей всю историю с Майтрейи, от первого до последнего дня.

Ближе к полуночи стало холодно, и мы вошли в дом согреться чаем. Сидя в комнате у Джении, я завершил свой рассказ, в нескольких словах передав содержание письма Кхокхи и сообщив о своем решении забыть Майтрейи, чтобы не причинять ей больше страданий. (Я понятия не имел, что это значит, но звучало красиво, и я произнес; вопреки своей дурацкой искренности я в этот вечер немного актерствовал.) Когда я кончил, Джения осталась сидеть молчаливая, печальная, на ресницах повисли слезы. Я спросил, почему она плачет. Она не ответила. Я придвинулся ближе, взял ее за руки, снова спросил. Она по-прежнему молчала. И тогда я нагнулся к ее лицу, так что наше дыхание смешалось, и спрашивал все тише, все нежнее. Она вдруг протяжно вздохнула, закрыла глаза и обвила мою шею руками, судорожно целуя, кусая меня в губы.

Я испытал странную радость, когда встал, чтобы запереть дверь.

*** * ***

Может показаться, что описанное выше уже не касается нашей с Майтрейи истории. Тем не менее это ее прямое продолжение. О Майтрейи я думал, обнимая белокожее, крепкое тело финской еврейки; Майтрейи искал в поцелуе, от нее хотел освободиться, ее забыть. Я искал и изгонял ее. Я вымаливал себе хотя бы что-то, что напомнило бы мне Майтрейи, и в то же время знал, что содрогнусь от отвращения, если мне хоть чем-то напомнит ее это белое тело, которое любовь тронула лишь мимоходом.

…Хотел ли я на самом деле ее забыть или хотел доказать себе, что ее одну я любил и что мне больше не полюбить никого? Было ли это просто испытание себя или первое бегство и первая грязь? В глубине

души я не допускал, что могу забыть *такое*. Это означало бы, что я подобен тысячам несчастных смертных, которые любят и забывают, у которых нет ничего святого и которые умирают, так и не прикоснувшись к вечности. Но всего несколько недель назад я чувствовал себя связанным навеки, совершенно уверенным в своей любви. А теперь? Неужели вся жизнь — один сплошной фарс?..

Я уходил в такие глупые вопросы, потому что мне было страшно признаться себе, как крепко держит меня Майтрейи. Близость с Джанией вызвала во мне лишь глубокую досаду и уверенность, что немало пройдет времени, прежде чем я снова отважусь прикоснуться к женщине, и, уж конечно, не при таких обстоятельствах. Мне нужна была Майтрейи, одна Майтрейи. Я скрежетал зубами, измышляя самые разные ласки, которые убивали ни в чем не повинную Джанию, а меня лишь укрепляли в моей любви, не давая мне забвения, какого я хотел, не стирая из памяти чувств ту, другую, единственную — Майтрейи.

Я спросил Джанию:

— Что ты во мне нашла?

— Я хотела, чтобы ты полюбил меня, как Майтрейи, — сказала она, поднимая на меня свои голубые, лишенные блеска глаза.

Я онемел. Какая страсть к самообману, какая жажда любви!

— Ты рассказывал, как ты любил Майтрейи, а я думала, какая я одинокая и несчастная, и чуть не разревелась…

Но, кажется, она поняла, что я никогда не смогу ее полюбить, хотя бы просто телесно. На рассвете я ушел из ее комнаты, измученный, пугающе трезвый, а она осталась лежать на постели, скомканной спазмами всех моих попыток забыть Майтрейи.

…В понедельник утром я проводил ее до ручья, пересекающего сосновый лес. Зачем мне послал ее Бог? Джания Айзек, мы когда-нибудь встретимся?

* * *

Я снова остался один, отвратительный сам себе, сбитый с толку, пытаясь представить, что со мной будет, пытаясь вернуть сладкий сон

с Майтрейи. Я никогда не смогу описать все, что я передумал за долгие недели после отъезда Джении. Мою бессонницу, мои тусклые дни.

Но все прошло в одно в мгновение. Раз утром я проснулся раньше обычного, с удивлением открыв для себя солнце, свет, зелень. Словно камень свалился с души. Мне хотелось петь, прыгать и скакать. Как это случилось, не знаю. Чем-то меня осенило, что-то на меня снизошло. И тогда я вернулся.

XV

Весь день ищу работу в конторах на набережной. Б. не сдержал обещания насчет должности французского переводчика в консульстве. Тяну последнюю сотню, хотя здесь мне многие должны. Гарольд ведет себя по-свински. Я попросился к нему в комнату, потому что у меня заплачено только до пятнадцатого числа, а он отказался под тем высокоумным предлогом, что я не христианин и что он не может делить кров с язычником! На самом деле он просто знает, что я на мели и без надежды на приличное жалованье. Госпожа Рибейро забыла, как щедро я платил ей за услуги, и спокойно смотрит на мою грязную рубашку, когда я захожу к Гарольду, — разве что нехотя угостит чаем. Продавать мне больше нечего. И рубашек осталось всего шесть-семь. Тяжелый день: много, слишком много неприятностей.

...Встреча с Кхокхой. Снова письмо от Майтрейи. Я отказываюсь взять: дескать, дал слово инженеру. (А точно ли я давал слово? Хоть убей не помню.) Кхокха говорит, что Майтрейи умоляет о свидании — либо в парке Бхованипора, либо в кинематографе; просит разрешения хотя бы позвонить. Я на все даю отказ, категорически, жестко, с болью в сердце. Зачем начинать все сначала, если все кончится теми же слезами, тем же безумием?

— Скажи ей, пусть она меня забудет. Аллан умер. Ждать больше некого.

Что бы такое придумать, невероятное, чтобы Майтрейи снова стала моей, навсегда? Ничего не придумывается, не находится. Убежать с ней… Но как ее похитить, как проникнуть в Бхованипор, охраняемый Сеном?.. И потом… может быть, я больше ее не стою. Не знаю, ничего не знаю. Пусть лучше забудет меня, пусть не мучается. Наша любовь — в прошлом.

...Со вчерашнего утра каждый час звонки. «Где Аллан? Мне надо поговорить с Алланом! Скажите ему, что это срочно, что его зовет

Майтрейи, его Майтрейи!» Госпожа Мактайер наконец не выдерживает.

— Аллан, да отделайтесь же вы от этой черномазой потаскухи!

Мне хочется влепить ей пощечину, но я только скалюсь улыбкой. Так, так тебе, еще раз, до крови, пока не упадешь на колени и не взвоешь: «Господи, пощади!»

...Вечером у Герти. Замечательная девушка, эта. моя Герти. И какая добрая. Стоит сказать: «Детка, паршивые мои дела, работа мне не светит» — и она тут же протягивает мне под столом десятку, а сама смеется, когда я благодарю.

— Брось, Аллан, сколько ты таких профинтил со мной... Что будешь пить?

— Виски, — говорю я. — Виски — отличная глушилка.

— Что ты собрался глушить? — хмурится она. — Что денег нет или что она тебя бросила?

— День хочу заглушить, Герти; жутко жить только днем, никогда не знать ночи, никогда не спать. Какой длинный день, Герти, какой день без конца без края...

...Ну вот, приехали. Я любим и — о Боже! — люблю Герти. Она отдалась мне так, ни с того ни с сего, когда я пришел к ней поужинать по-человечески и одолжить пижаму — я теперь сплю в пижамах с чужого плеча. Зашел и оказался в ее постели. Нет, это не жизнь, а сплошные чудеса.

— Ты мой дорогой мальчик, — лепечет она, ласкаясь.

Во мне же отклика не больше, чем если бы она говорила: «Приятный у тебя одеколончик». Набор слов. Но поскольку я последнее время стал труслив от недоедания, я не возражаю, а тоже ласкаю ее, поругивая: «Бесстыдница, бесстыдница!» — и она заходится от восторга. Утром перед работой — ей к десяти — она кормит меня завтраком и сует пачку «Стейт-Экспресс-555». Когда я курил такие последний раз!.. На прощание я живописую ей свои трудности с жильем, и она предлагает переселиться к ней.

— А мне плевать, что скажут!

Не ожидал такой смелости от евразийки. Я-то думал, что ее интересуют только деньги. Впрочем, у нее есть, я знаю, на прицеле

два типа с мошной, два бара-сахиба. Она признается, что влюблена в меня с первого же вечера. А я-то!

...Я только что кончил разговор с Б. и вдруг слышу и со страхом узнаю голос Майтрейи:

— Аллан! Почему ты не хочешь меня выслушать? Аллан, ты все забыл…

Я опускаю трубку и, чуть ли не держась руками за стены, тащусь к себе в комнату. Господи, почему я не могу забыть? Почему они все тлеют, эти угли, бессмысленно, бесплодно? Надо сделать что-то такое, чтобы Майтрейи сама отвернулась от меня. Мы все равно никогда не смогли бы принадлежать друг другу. Переселюсь к Герти и пошлю Кхокху сказать ей об этом.

...Переговоры с одной нефтяной компанией. Им нужен речной агент. Я думаю, что потяну. Должен. Вторую половину дня провел в библиотеке Политехнического института, искал, что такое «речной агент». Мною уже два раза интересовались из полиции. Безработных немедленно отправляют в Европу. Это был бы полный нокдаун — если бы меня выслали… Герти дала мне еще двадцать рупий — со слезами на глазах, даже жалко ее.

...Сегодня разбирал свои бумаги и наткнулся на письмо, присланное Майтрейи ко дню ее рожденья каким-то типом вместе с роскошным букетом. Непреодолимое желание узнать, что там написано, а поскольку мое знание бенгальского пошло на убыль, прошу одного соседа, аптекаря, перевести, что он и делает:

«Мой свет, моя незабвенная, не могу сегодня навестить тебя, потому что хочу видеть тебя только наедине, чтобы ты была только для меня, как когда-то, в моих руках, в тот день…»

Дальше цитировать не могу. Горю бешеной, нечеловеческой ревностью. Кажется, разнес бы стол в щепы. Пусть только она еще раз позовет меня к телефону! Господи, когда же я обманулся? И в чем? Неужели они все были правы?

...Давно я не делал записей в дневнике. Надеюсь вскоре развязаться с Индией. У меня верная договоренность, хотя пока и без

контракта, в Сингапуре. Чем там придется заниматься, еще не знаю, но деньги на дорогу уже получил. Никому не говорю. Я и так уже слишком много хвастался, что не останусь без работы.

С Гарольдом порвал решительно. Если бы не Клара, стукнул бы его хорошенько. Страшно тянет на драку. Герти из-за этого инцидента даже поссорилась с Кларой. С тех пор как я к ней перебрался, нас все считают счастливыми супругами (не знаю, кто пустил слух, что мы тайно обвенчались). Но Герт и знает «правду»: что я безумно люблю Майтрейи и переехал к ней, чтобы отомстить. На самом деле я переехал, потому что нечего было есть.

...Кхокха упорно меня осаждает. Я велел его не пускать. Тогда он стал присылать письма, но я никогда не могу разобрать больше половины, у него ужасный английский. Он намекает, что Майтрейи решилась сделать так, чтобы ее выгнали из дому и она вернулась ко мне. От этой мысли я прихожу в полную негодность и поэтому стараюсь ее избегать. Кажется, он даже считает, что Майтрейи может отдаться первому встречному, только чтобы ее выгнали и она могла снова быть со мной. Литература.

...Встреча с Дж., племянником госпожи Сен, который приехал сюда работать по контракту в одной большой типографии. Радость, объятия, воспоминания. Первый знакомый из Индии, которого я вижу в Сингапуре. Приглашаю его пообедать, и после третьей сигареты он, строго глядя мне в глаза, говорит:

— Аллан, ты знаешь, что Майтрейи тебя очень любила? Об этом теперь всем известно…

Я пытаюсь его остановить: положим, мне приятно встретить человека из тех краев, но выслушивать сочувственные слова или комментарии к нашей любви я не собираюсь. Ну, любила, ну, известно. Что с того?

— Нет, нет, — настаивает он. — Я должен сказать тебе печальные вещи.

— Она умерла? — в испуге спрашиваю я, хотя не поверил бы в ее смерть, я знаю, что, если Майтрейи суждено умереть раньше меня, я почувствую этот час.

— Лучше бы она умерла, — говорил Дж. — Она опозорила себя. Отдалась зеленщику…

Комната плывет перед глазами, я вцепляюсь в крышку стола. Дж. продолжает:

— Это был тяжелый удар для нас всех. Мать чуть сума не сошла от горя. Майтрейи уехала в Миднапур рожать, якобы втайне, но все знают. Они пытались подкупить этого негодяя, а теперь судятся.

Я не понял. Не понимаю и до сих пор. Кто судится и с кем? Спрашиваю: выгнали ли Майтрейи из дому?

— Отец не хочет ее выгонять ни под каким видом. Он сказал, что лучше убьет ее своими собственными руками, чем выгонит. Они готовили для нее хорошую партию, а теперь… Кто ее возьмет? Она им: «Почему вы не бросите меня собакам? Почему не выставите на улицу?» И все-таки они ее не гонят. Похоже, бедняжка свихнулась. Иначе как объяснить, что она такое над собой сделала?..

Я думаю уже много часов. И ничего не предпринимаю. Да и что я могу? Телеграфировать Сену? Написать Майтрейи?

Я чувствую, что она сделала это ради меня. Если бы я читал письма, которые приносил Кхокха… Может быть, у нее был план. Как смутно на душе, как смутно. И все же я хочу записать здесь все. Все.

…А если я обманулся в своей любви? Что можно знать? В чем быть уверенным? Мне бы сейчас увидеть глаза Майтрейи.

1933

Ю. Стефанов. Конечное уравнение, или Ночь духов

послесловие

(фрагменты)

Мирча Элиаде, 1933.

Роман «Майтрейи» — первый значительный опыт художественного преломления тех впечатлений, что обрушились на автора в Индии. Роман этот принято считать автобиографическим, реалистическим, поскольку в нем «священное», «инобытийное» не явлено так откровенно, как в более поздних произведениях Элиаде. При поверхностном чтении, да еще с оглядкой на Джозефа Конрада и Сомерсета Моэма, можно воспринять его как очередной вариант сентиментально-трагической истории о любви белого человека к «прекрасной туземке» — истории, сдобренной к тому же сатирическими нотками, призванными обличить все духовное ничтожество пресловутых «пионеров», проводящих время в ночных попойках с веселыми девушками. Элиаде и впрямь не жалеет черной

краски для описания такого рода второстепенных действующих лиц, но краску эту можно считать той самой «тиной», из которой пробивается мистическая или, лучше сказать, метафизическая суть романа. Весь этот местный колорит, все эти «одноногие столики с латунными столешницами», «кушетки, покрытые тканями Кашмира», «изнурительные оранжерейные запахи», «балконы, густо заросшие красной глицинией», — оттеняют вневременную, сакральную сердцевину повествования, тантрический миф о слиянии Шакти, женского начала вселенной, с началом мужским, которое в индуистских учениях рассматривается как его отраженный, пассивный, «лунный» аспект.

Поначалу героиня романа кажется ее будущему избраннику лишь олицетворением переизбытка плоти, созданием, близким даже не к животной, а к растительной, вегетативной сфере мира: «Эти слишком большие и слишком черные глаза, эти толстые, вывороченные губы, эта литая грудь, — словом, бенгальская девушка с преувеличенной плотью, как набухший зрелостью плод». Свое родство с природой и, в частности, с флорой Индии сознает и сама Майтрейи: «Я влюбилась в одно дерево, могучее, высокое, ужасно нежное… Мы с ним… ласкались, целовались, разговаривали, я ему посвящала стихи… оно гладило меня листьями по лицу». Однако она смотрит на растительное царство совсем иными глазами, чем британский инженер Аллан. Для нее вся природа одухотворена, пронизана пульсацией незримых космических сил: «…у всех деревьев есть душа». Человек может превратиться в цветок и снова обрести изначальное свое обличье, но лишь после того, как перед ним изорвут в клочья книгу «с примерами и наставлениями против лжи», т. е. против магического, тайновидческого взгляда на мироздание.

Поселившись под одной крышей с Майтрейи, каждодневно общаясь с ней, слушая ее стихи и рассуждения о природе красоты, входя в быт, «где все читалось… как тайнопись», Аллан незаметно для себя начинает прозревать за внешними чертами девушки ее «надчеловеческое» начало. В тексте романа прослеживается мотив чистоты, святости, божественной благодати, связанный с образом Майтрейи, которая, оставаясь вполне реальным и более чем телесным существом, мало-помалу превращается в «богиню из восточной

сказки», от которой исходят «мистические эманации» и представления которой теряются «в бездне времен».

Немудрено, что миг телесной близости с Майтрейи Аллан осмысливает как мистический опыт, контакт со сверхъестественным: «Я ощущал полноту и непрерывность своего существа, огромный вал поднял меня из ничего, не отрывая при этом от корней, не сбивая с пути. Я никогда не жил так мощно и неопосредованно, так вне времени, как в эти минуты».

Такого рода впечатления и представления, связывающие воедино мистический и эротический опыт, могут показаться кощунственными только неподготовленному читателю, незнакомому даже с трактатами Екатерины Сиенской и Терезы Авильской, где пути богопознания намечены с помощью смелых образов, исполненных почти плотской чувственности. Что же касается Индии и сопредельных с нею стран, там эти понятия еще в глубокой древности сложились в целую философско-магическую систему, именуемую тантра-йогой. Мирча Элиаде вкратце излагает ее в своей книге «Мифы, сновидения и мистерии» (1957): «Мир был сотворен при участии двух полярных принципов — Шивы и Шакти. Но поскольку Шива представляет собой абсолютную пассивность, неподвижность Духа, то движение, а следовательно, Созидание и Жизнь, на всех космических уровнях предстает проявлением Шакти. Освобождение может быть достигнуто лишь посредством слияния обоих этих принципов в теле адепта. Уточним: именно в теле, а не только в психоментальном опыте». Еще более определенно высказывается по этому вопросу итальянский эзотерик Юлиус Эвола: «Шактистская метафизика вдохновляется архаическим образом Дэви, Великой Богини, понимаемой как наивысшее божество, как первопринцип, одухотворяющий вселенную. „Лишь благодаря ей, — гласит Дэви-Бхагавата-Пурана, — Брахма творит, Вишну хранит, а Шива в конце времен разрушает мироздание. Без нее они бессильны, она и есть истинная зиждительница, покровительница и губительница мира“».[22]

Только реальное соитие с земным воплощением Богини позволяет адепту тантризма осознать иллюзорность своей природы, пробудить дремлющие в нем тайные силы и преобразить свою тленную плоть в «мистическое тело», неподвластное старению и смерти. В романе Элиаде полунамеками даются кое-какие понятия об эротической

стороне тантра-йоги, но делается это крайне деликатно, ибо художественное произведение несет совсем иную нагрузку, нежели эзотерический трактат или научная монография. Куда шире эта тема отражена в упомянутых выше работах «Техника йоги» и «Йога. Бессмертие и свобода», к которым я и отсылаю любознательного читателя.

Здесь же уместнее вспомнить о некоторых символических деталях, подтверждающих толкование «Майтрейи» как текста, навеянного тантрическими доктринами. Сюда относятся колористические характеристики героини, неизменно намекающие на ее солнечную, активную, жизнетворную природу. Майтрейи питает пристрастие к жарким тонам, отсветам золота, небесной голубизне. Автор упоминает о шоколадном или пунцовом покрывале, шитых золотом туфельках, сари небесного шелка с золотым орнаментом. Этой солнечной гамме противопоставляется лунная, «алебастровая» белизна Аллана, он выглядит как бы бледным отражением своей тантрической пары. Можно упомянуть и о парадоксальной полярности их темпераментов: Аллан безволен, нерешителен, готов идти на поводу у первого встречного; Майтрейи, при всей ее внешней мягкости и полудетской застенчивости, берет на себя роль активного начала. Решительность и страстность сочетаются в ней с тонким эстетическим чутьем и поэтической одаренностью: «Она пишет философские стихи, они очень нравятся Тагору». А в эпизоде обручения с Алланом она предстает уже не просто поэтессой, а подлинной жрицей, изрекающей вдохновенные формулы космического обета верности.

Следует, однако, признать, что тантрические аллюзии не получают в первом романе Элиаде законченного художественного воплощения, мало-помалу их пересиливают тенденции психологического и даже, как уже говорилось, сатирического толка. В характерах обоих любовников перевешивают земные, чисто человеческие аспекты; драма сводится к конфликту между кастовыми предрассудками родителей девушки и ее неуемным темпераментом, — конфликту, усугубленному пассивной, «лунной» природой Аллана. В конце повествования он встречается с финской еврейкой из Южной Африки, чьи метания явно пародируют его собственные духовные поиски. Эта экзальтированная девица, начитавшаяся «английского

паяца с псевдонимом Рамачарака», тоже ищет Абсолют, мечтает «все забыть, поселиться в ашраме, обрести истину, жизнь, бессмертие». Но их мимолетная любовная связь ни к чему не обязывает и ни к чему не приводит: это встреча двух ущербных планет, двух ипостасей одного и того же бесплодного, умствующего начала, воплощающего всю однобокость и малокровие западной цивилизации.

Юрий Стефанов

---

notes

Примечания

1

Помнишь ли ты, Майтрейи? И если помнишь, можешь ли ты простить?.. *(бенг.)*

2

YMCA (Young Men's Christian Association) — Христианская ассоциация молодежи *(англ.)*.

3

Важные господа *(хинди)*.

4

Старик *(франц.)*.

5

Женская половина дома *(хинди)*.

6

Да, да, верно *(франц.)*

7

Извините меня! Вот ваше место *(искаж. франц.)*.

8

Дьявол, дьявол! Красное вино, белое вино! *(франц.)*

9

Очень хорошо, сахиб, эта молодая девушка как раз для вас *(франц.* и *хинди)*.

10

Прощальная вечеринка *(англ.)*.

11

Невообразимый *(англ.)*.

12

«Индия при англичанах» *(франц.)*.

13

Первая ночь *(лат.)*.

14

Пьеса древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы.

15

«Мохуа» — название сборника любовной лирики Р. Тагора.

16

«Полет журавлей» — знаменитая книга стихов Р. Тагора.

17

Частная беседа *(англ.)*.

18

«Сестры бедных» *(англ.)*.

19

«Пробудившаяся Индия», религиозно-публицистический журнал.

20

Приходите в шесть часов утра в библиотеку *(искаж. франц.)*.

21

Упанишады — древнеиндийские религиозно-философские трактаты.

22

Evola J. Le Yoga tantrique. P., 1975, pp. 38–39.